

Аркадий Аверченко.
Рассказы

"Два преступления господина Вопягина"

- Господин Вопягин! Вы обвиняетесь в том, что семнадцатого июня сего года, спрятавшись в кустах, подсматривали за купающимися женщинами... Признаете себя виновным?

Господин Вопягин усмехнулся чуть заметно в свои великолепные, пушистые усы и, сделав откровенное, простодушное лицо, сказал со вздохом:

- Что ж делать... признаю! Но только у меня есть смягчающие вину обстоятельства...

- Ага... Так-с. Расскажите, как было дело?

- Семнадцатого июня я вышел из дому с ружьем рано утром и, бесплодно прошатавшись до самого обеда, вышел к реке. Чувствуя усталость, я выбрал тенистое местечко, сел, вынул из сумки ветчину и коньяк и стал закусывать... Нечаянно оборачиваюсь лицом к воде - глядь, а там, на другом берегу, три каких-то женщины купаются. От нечего делать (завтракая в то же время - заметьте это г. судья!) я стал смотреть на них.

- То, что вы в то же время завтракали, не искупает вашей вины!.. А скажите... эти женщины были, по крайней мере, в купальных костюмах?

- Одна. А две так. Я, собственно, господин судья, смотрел на одну - именно на ту, что была в костюме. Может быть, это и смягчит мою вину. Но она была так прелестна, что от нее нельзя было оторвать глаз...

Господин Вопягин оживился, зажестикнул.

- Представьте себе: молодая женщина лет двадцати четырех, блондинка с белой, как молоко, кожей, высокая, с изумительной талией, несмотря на то что ведь она была без корсета!.. Купальный костюм очень рельефно подчеркивал ее гибкий стан, мягкую округлость бедер и своим темным цветом еще лучше выделял белизну прекрасных полных ножек, с розовыми, как лепестки розы, коленями и восхитительные ямочки...

Судья закашлялся и смущенно возразил:

- Что это вы такое рассказываете... мне, право, странно...

Лицо господина Вопягина сияло одушевлением.

- Руки у нее были круглые, гибкие - настоящие две белоснежных змеи, а грудь, стесненную материей купального костюма, ну... грудь эту некоторые нашли бы, может быть, несколько большей, чем требуется изяществом женщины, но, уверяю вас, она была такой прекрасной, безукоризненной формы...

Судья слушал, полузакрыв глаза, потом очнулся, сделал нетерпеливое движение головой, нахмурился и сказал:

- Однако там ведь были дамы и... без костюмов?

- Две, г. судья! Одна смуглая брюнетка, небольшая, худенькая, хотя и стройная, но - не то! Решительно не то... А другая - прехорошенькая девушка лет восемнадцати...

- Ага! - сурово сказал судья, наклоняясь вперед. - Вот видите! Что вы скажете нам о ней?.. Из чего вы заключили, что она девушка и именно указанного возраста?

- Юные формы ее, г. судья, еще не достигли полного развития. Грудь ее была девственно-мала, бедра не так широки, как у блондинки, руки худощавы, а смех, когда она засмеялась, звучал так невинно, молодо и безгрешно...

В камере послышалось хихиканье публики.

- Замолчите, г. Вопягин! - закричал судья. - Что вы мне такое рассказываете! Судье вовсе не нужно знать этого... Впрочем, ваше откровенное сознание и непреднамеренность преступления спасают вас от заслуженного штрафа. Ступайте!

Вопягин повернулся и пошел к дверям.

- Еще один вопрос, - остановил его судья, что-то записывая. - Где находится это... место?

- В двух верстах от Сутугинских дач, у роши. Вы перейдете мост, г.

судья, пройдете мимо поваленного дерева, от которого идет маленькая тропинка к берегу, а на берегу высокие, удобные кусты...

- Почему - удобные? - нервно сказал судья. - Что значит - удобные?

Волягин подмигнул судье, вежливо раскланялся и, элегантно раскачиваясь на ходу, исчез.

"Ихневмоны"

Редактор сказал мне:

- Сегодня открывается выставка картин неоноваторов, под маркой "Ихневмон". Отправляйтесь туда и напишите рецензию для нашей газеты.

Я покорно повернулся к дверям, а редактор крикнул мне вдогонку:

- Да! забыл сказать самое главное: постарайтесь похвалить этих ихневмонов... Неудобно, если газета плетется в хвосте новых течений и носит обидный облик отсталости и консерватизма.

Я приостановился.

- А если выставка скверная?

- Я вас потому и посылаю... именно вас, - подчеркнул редактор, - потому что вы человек добрый, с прекрасным, мягким и ровным характером... И найти в чем-либо хорошие стороны - для вас ничего не стоит. Не правда ли? Ступайте с Богом.

Когда я, раздевшись, вошел в первую выставочную комнату, то нерешительно поманил пальцем билетного контролера и спросил:

- А где же картины?

- Да вот они тут висят! - ткнул он пальцем на стены. - Все тут.

- Вот эти? Эти - картины?

Стараясь не встретиться со мной взглядом, билетный контролер опустил голову и прошептал:

- Да.

По пустынным залам бродили два посетителя с испуганными, встревоженными лицами.

- Эт-то... забавно. Интер-ресно, - говорили они, пугливо косясь на стены. - Как тебе нравится вот это, например?

- Что именно?

- Да вот там висит... Такое, четырехугольное.

- Там их несколько. На какую ты показываешь? Что на ней нарисовано?

- Да это вот... такое зеленое. Руки такие черные... вроде лошади.

- А! Это? Которое на мельницу похоже? Которое по каталогу называется "Абиссинская девушка"? Ну, что ж... Очень мило!

Один из них наклонился к уху другого и шепнул:

- А давай убежим!..

Я остался один.

Так как мне никто не мешал, я вынул записную книжку, сел на подоконник и стал писать рецензию, стараясь при этом использовать лучшие стороны своего характера и оправдать доверие нашего передового редактора.

- "Открылась выставка "Ихневмон", - писал я. - Нужно отдать справедливость - среди выставленных картин попадаетесь целый ряд интересных удивительных вещей...

Обращает на себя внимание любопытная картина Стулова "Весенний листопад". Очень милы голубые квадратики, которыми покрыта нижняя половина картины... Художнику, очевидно, пришлось потратить много времени и труда, чтобы нарисовать такую уйму красивых голубых квадратиков... Приятное впечатление также производит верхняя часть картины, искусно прочерченная тремя толстыми черными линиями... Прямо не верится, чтобы художник сделал их от руки! Очень смело задумано красное пятно сбоку картины. Удивляешься - как это художнику удалось сделать такое большое красное пятно.

Целый ряд этюдов Булюбеева, находящихся на этой же выставке, показывает в художнике талантливого, трудолюбивого мастера. Все этюды раскрашены в

приятные темные тона, и мы с удовольствием отмечаем, что нет ни одного этюда, который был бы одинакового цвета с другим... Все вещи Булюбеева покрыты такими чудесно нарисованными желтыми волнообразными линиями, что просто глаз не хочется отвести. Некоторые этюды носят удачные, очень гармоничные названия: "Крики тела", "Почему", "Который", "Дуют".

Сильное впечатление производит трагическая картина Бурдиса "Легковой извозчик". Картина воспроизводит редкий момент в жизни легковых извозчиков, когда одного из них пьяные шутники вымазали в синюю краску, выкололи один глаз и укоротили ногу настолько, что несчастная жертва дикой шутки стоит у саней, совершенно покосившись набок... Когда же прекратятся наконец издевательства сытых, богатых самодуров-пассажиоров над бедными затравленными извозчиками! Приятно отметить, что вышеназванная картина будит в зрителе хорошие гуманные чувства и вызывает отвращение к насилию над слабейшими..."

Написав все это, я перешел в следующую комнату.

Там висели такие странные, невиданные мною вещи, что если бы они не были заключены в рамы, я бился бы об заклад, что на стенах развешаны отслужившие свою службу приказчицы передники из мясной лавки и географические карты еще не исследованных африканских озер...

Я сел на подоконник и задумался.

Мне вовсе не хотелось обижать авторов этих заключенных в рамы вещей, тем более что их коллег я уже расхвалил с присущей мне чуткостью и тактом. Не хотелось мне и обойти их обидным молчанием.

После некоторого колебания я написал:

"Отрадное впечатление производят оригинальные произведения гг. Моавитова и Колыбянского... Все, что ни пишут эти два интересных художника, написано большей частью кармином по прекрасному серому полотну, что, конечно, стоит недешево и лишний раз доказывает, что истинный художник не жалеет для искусства ничего.

Помещение, в котором висят эти картины, теплое, светлое и превосходно вентилируется. Желаем этим лицам дальнейшего процветания на трудном поприще живописи!"

Просмотрев всю рецензию, я остался очень доволен ею. Всюду в ней присутствовала деликатность и теплое отношение к несчастным, обиженным судьбою и Богом людям, нигде не проглядывали мои истинные чувства и искреннее мнение о картинах - все было мягко и осторожно.

Когда я уходил, билетный контролер с тоской посмотрел на меня и печально спросил:

- Уходите? Погуляли бы еще. Эх, господин! Если бы вы знали, как тут тяжело...

- Тяжело? - удивился я. - Почему?

- Нешто ж у нас нет совести или что?! Нешто ж мы можем в глаза смотреть тем, кто сюда приходит? Срамота, да и только... Обрываешь у человека билет, а сам думаешь: и как же ты будешь сейчас меня костить, мил-человек?! И не виноват я, и сам я лицо подневольное, а все на сердце нехорошо... Нешто ж мы не понимаем сами - картина это или што? Обратите ваше внимание, господин... Картина это? Картина?! Разве такое на стенку вешается? Чтоб ты лопнула, проклятая!..

Огорченный контролер размахнулся и ударил ладонью по картине. Она затрещала, покачнулась и с глухим стуком упала на пол.

- А, чтоб вы все попадали, анафемы! Только ладонь из-за тебя краской измазал.

- Вы не так ее вешаете, - сказал я, следя за билетеровыми попытками снова повесить картину. - Раньше этот розовый кружочек был вверху, а теперь он внизу.

Билетер махнул рукой:

- А не все ли равно! Мы их все-то развешивали так, как Бог на душу положит... Багетчик тут у меня был знакомый - багеты им делал, - так приходил, плакался: что я, говорит, с рамами сделаю? Где кольца прилажу, ежели мне неизвестно, где верх, где низ? Уж добрые люди нашлись,

присоветовали: делай, говорят, кольца с четырех боков - после разберут!.. Гм... Да где уж тут разобрать!

Я вздохнул:

- До свиданья, голубчик.

- Прощайте, господин. Не поминайте лихом - нету здесь нашей вины ни в чем!..

- Вы серьезно писали эту рецензию? - спросил меня редактор, прочтя исписанные листки.

- Конечно. Все, что я мог написать.

- Какой вздор! Разве так можно трактовать произведения искусства? Будто вы о крашеных полах пишете или о новом рисуночке ситца в мануфактурном магазине... Разве можно, говоря о картине, указать на какой-то кармин и потом сразу начать расхваливать вентиляцию и отопление той комнаты, где висит картина... Разве можно бессмысленно, бесцельно восхищаться какими-то голубыми квадратиками, не указывая - что это за квадратики? Для какой они цели? Нельзя так, голубчик!.. Придется послать кого-нибудь другого.

При нашем разговоре с редактором присутствовал неизвестный молодой человек, с цилиндром на коленях и громадной хризантемой в петлице сюртука. Кажется, он принес стихи.

- Это по поводу выставки "Ихневмона"? - спросил он. - Это трудно - написать о выставке "Ихневмона". Я могу написать о выставке "Ихневмона".

- Пожалуйста! - криво улыбнулся я. - Поезжайте. Вот вам редакционный билет.

- Да мне и не нужно никакого билета. Я тут у вас сейчас и напишу. Дайте-ка мне вашу рецензию... Она, правда, никуда не годится, но в ней есть одно высокое качество - перечислено несколько имен. Это то, что мне нужно. Благодарю вас.

Он сел за стол и стал писать быстро-быстро.

- Ну вот, готово. Слушайте: "Выставка "Ихневмон". В ироническом городе давно уже молятся только старушечья привычка да художественное суеверие, которое жмурится за версту от пропасти. Стулов, со свойственной ему дерзостью большого таланта, подошел к головокружительной бездне возможностей и заглянул в нее. Что такое его хитро-манерный, ускользающе-дающийся, жуткий своей примитивностью "Весенний листопад"? Стулов ушел от Гогена, но его не манит и Зулоага. Ему больше по сердцу мягкий серебристый Манэ, но он не служит и ему литургии. Стулов одиноко говорит свое тихое, полузабытое слово: жизнь.

Заинтересовывает Булюбеев... Он всегда берет высокую ноту, всегда остро подходит к заданию, но в этой остроте есть своя бархатистость, и краски его, погашенные размеренностью общего темпа, становятся приемлемыми и милыми. В Булюбееве не чувствуется тех изысканных и несколько тревожных ассонансов, к которым в последнее время нередко прибегают нервные порывистые Моавитов и Колыбянский. Моавитов, правда, еще притаился, еще выжидает, но Колыбянский уже хочет развернуться, он уже пугает возможностью возрождения культа Биллитис, в ее первоначальном цветении. Примитивный по синему пятну "Легковой извозчик" тем не менее показывает в Бурдисе творца, проникающего в городскую околдованность и шепчущего ей свою напевную, одному ему известную, прозрачную, без намеков сказку..."

Молодой человек прочел вслух свою рецензию и скромно сказал:

- Видите... Здесь ничего нет особенного. Нужно только уметь.

Редактор, уткнувшись в бумагу, писал для молодого господина записку на аванс.

Я попрощался с ними обоими и устало сказал:

- От Гогена мы ушли и к Зулоаге не пристали... Прощайте! Кланяйтесь от меня притаившемуся Моавитову, пожмите руку Бурдису и поцелуйте легкового извозчика, шепчущего прозрачную сказку городской околдованности. И передайте Булюбееву, что, если он будет менее остро подходить к бархатистому заданию - для него и для его престарелых родителей будет лучше.

Редактор вздохнул. Молодой господин вздохнул, молча общипывая

хризантему на своей узкой провалившейся груди...

"Двойник"

Молодой человек Колесакин называл сам себя застенчивым весельчаком.

Приятель называли его забавником и юмористом, а уголовный суд, если бы веселый Колесакин попал под его отеческую руку, разошелся бы в оценке характера веселого Колесакина и с ним самим и Колесакиновыми приятелями.

Колесакин сидел на вокзале небольшого провинциального города, куда он приехал на один день по какому-то вздорному поручению старой тетки.

Его радовало все: и телячья котлета, которую он ел, и вино, которое он пил, и какая-то заблудшая девица в голубенькой шляпке за соседним столиком - все это вызывало на приятном лице Колесакина веселую, благодущную улыбку.

Неожиданно за его спиной раздалось:

- А-а! Сколько зим, сколько лет!!

Колесакин вскочил, обернулся и недоумевающе взглянул на толстого красного человека, с лицом, блестящим от скупого вокзального света, как медный шар.

Красный господин приветливо протянул Колесакину руку и долго тряс ее, будто желая вытрясти все колесакинское недоумение:

- Ну как же вы, батенька, поживаете?

"Черт его знает, - подумал Колесакин, - может быть, действительно где-нибудь познакомились. Неловко сказать, что не помню".

И ответил:

- Ничего, благодарю. Вы как?

Медный толстяк расхохотался.

- Хо-хо! А что нам делается?! Ваши здоровеньки?

- Ничего... Слава Богу, - неопределенно ответил Колесакин и, из вежливого желания поддержать с незнакомым толстяком разговор, спросил: - Отчего вас давно не видно?

- Меня-то что! А вот вы, дорогой, забыли нас совсем. Жена и то спрашивает... Ах, черт возьми, - вспомнил! Ведь вы меня, наверное, за это ругаете?

- Нет, - совершенно искренно возразил Колесакин. - Я вас никогда не ругал.

- Да, знаем... - хитро подмигнул толстяк. - А за триста-то рублей! Куриозно! Вместо того чтобы инженер брал у поставщика, инженер дал поставщику! А ведь я, батенька, в тот же вечер и продул их, признаться.

- Неужели?

- Уверю вас! Кстати, что вспомнил... Позвольте рассчитаться. Большое мерси!

Толстяк вынул похожий на обладателя его, такой же толстый и такой же медно-красный бумажник и положил перед Колесакиным три сотенных бумажки.

В Колесакине стала просыпаться его веселость и юмор.

- Очень вам благодарен, - сказал он, принимая деньги. - А скажите... не могли бы вы - услугу за услугу - до послезавтра одолжить мне еще четыреста рублей? Платежи, знаете, расчет срочный... послезавтра я вам пришлю, а?

- Сделайте одолжение! Пожалуйте! В клубе как-нибудь столкнемся - рассчитаемся. А кстати: куда девать те доски, о которых я вам писал? Чтобы не заплатить нам за полежалое.

- Куда? Да свезите их ко мне, что ли. Пусть во дворе лежат.

Толстый господин так удивился, что высоко поднял брови, вследствие чего маленькие заплывшие глазки его впервые как будто глянули на свет Божий.

- Что вы! Шутить изволите, батенька? Это три-то вагона?

- Да! - решительно и твердо сказал Колесакин. - У меня есть свои соображения, которые... Одним словом, чтобы эти доски были доставлены ко мне - вот и все. А пока позвольте с вами раскланяться. Человек! Получи. Жене привет!

- Спасибо! - сказал толстый поставщик, тряся руку Колесакина. - Кстати,

что Эндименов?

- Эндименов? Ничего, по-прежнему.

- Рипается?

- Ого!

- А она что?

Колесакин пожал плечами.

- Что ж она... Ведь вы сами, кажется, знаете, что своего характера ей не переделать.

- Совершенно правильно, Вадим Григорьевич! Золотые слова. До свиданья.

Это был первый веселый поступок, совершенный Павлушей Колесакиным. Второй поступок совершился через час в сумерках деревьев городского чахлого бульвара, куда Колесакин отправился после окончания несложных теткинских дел.

Навстречу ему со скамейки поднялась стройная женская фигура, и послышался радостный голос:

- Вадим! Ты?! Вот уж не ждала тебя сегодня! Однако как ты изменился за эти две недели! Почему не в форме?

"А она прехорошенькая! - подумал Колесакин, чувствуя пробуждение своего неугомонного юмора. - Моему двойничку-инженеру живется, очевидно, превесело".

- Надоело в форме! Ну, как ты поживаешь? - любезно спросил веселый Колесакин, быстро овладевая своим странным положением. - Поцелуй меня, деточка.

- Ка-ак? Поцелуй? Но ведь тогда ты говорил, что нам самое лучшее и честное расстаться?

- Я много передумал с тех пор, - сказал Колесакин дрожащим голосом, - и решил, что ты должна быть моей! Сядем вот здесь... Тут темно. Сядь ко мне на колени...

- А знаешь что, - продолжал он потом, тронутый ее любовью, - переезжай послезавтра ко мне! Заживем на славу.

Девушка отшатнулась.

- Как к тебе?! А... жена?

- Какая жена?

- Твоя!

- Ага!.. Она не жена мне. Не удивляйся, милая! Здесь есть чужая тайна, которую я не вправе открыть до послезавтра... Она - моя сестра!

- Но ведь у вас же двое детей!

- Приемные! Остались после одного нашего друга. Старый морской волк... Утонул в Индийском океане. Отчаянию не было пределов... Одним словом, послезавтра собирай все свои вещи и прямо ко мне на квартиру.

- А... сестра?

- Она будет очень рада. Будем воспитывать вместе детей... Научим уважать их память отца!.. В долгие зимние вечера... Поцелуй меня, мое сокровище.

- Господи... Я, право, не могу опомниться... В тебе есть что-то чужое, ты говоришь такие странные вещи...

- Оставь. Брось... До послезавтра... Мне теперь так хорошо... Это такие минуты, которые, которые...

В половине одиннадцатого ночи весельчак Колесакин вышел из сада утомленный, но довольный собой и по-прежнему готовый на всякие веселые авантюры.

Кликнул извозчика, поехал в лучший ресторан и, войдя в освещенную залу, был встречен низкими поклонами метрдотеля.

- Давненько не изволили... забыли нас, Вадим Григорьевич. Николай! Стол получше господину Зайцеву. Пожалуйста-с!

На эстраде играл какой-то дамский оркестр.

Решив твердо, что завтра с утра нужно уехать, Колесакин сегодня разрешил себе кутнуть.

Он пригласил в кабинет двух скрипачек и барабанщицу, потребовал шампанского, винограду и стал веселиться...

После шампанского показывал жонглирование двумя бутылками и стулом. Но когда разбил нечаянно бутылкой трюмо, то разочаровался в жонглировании и обрушился с присущим ему в пьяном виде мрачным юмором на рояль: бил по клавишам кулаком, крича в то же время:

- Молчите, проклятые струны!

В конце концов он своего добился: проклятые струны замолчали, за что буфетчик увеличил длинный и печальный счет на 150 рублей... Потом Колесакин танцевал на столе, покрытом посудой, грациозный танец неизвестного наименования, а когда в соседнем кабинете возмутились и попросили вести себя тише, то Колесакин отомстил за свою поруганную честь тем, что, схвативши маленький барабан, прорвал его кожу и нахлобучил на голову поборника тишины.

Писали протокол. Было мокро, смято и печально. Все разошлись, кроме Колесакина, который, всеми покинутый, диктовал околоточному свое имя и фамилию:

- Вадим Григорьевич Зайцев, инженер. Счет на 627 рублей 55 коп. Колесакин велел отослать к себе на квартиру.

- Только, пожалуйста, послезавтра!

Уезжал Колесакин на другой день рано утром, веселый, ощущая в кармане много денег и в голове приятную тяжесть.

Когда он шел по пустынному перрону, сопровождаемый носильщиком, к нему подошел высокий щеголеватый господин и строго сказал:

- Я вас поджидаю! Мы, кажется, встречались... Вы - инженер Зайцев?

- Да!

- Вы не отказываетесь от того, что говорили на прошлой неделе на журфиксе Заварзеевых?

- У Заварзеевых? Ни капельки! - твердо ответил Колесакин.

- Так вот вам. Получите!

Мелькнула в воздухе холеная рука, и прозвучала сильная глухая пощечина.

- Милостивый государь! - вскричал Колесакин, пошатнувшись. - За что вы деретесь?..

- Я буду бить так всякого мерзавца, который станет утверждать, что я нечестно играю в карты!

И, повернувшись, стал удаляться. Колесакин хотел догнать его и сообщить, что он - не Зайцев, что он пошутил... Но решил, что уже поздно.

Когда ехал в поезде, деньги уже не радовали его и беспечное веселье потускнело и съезжилось...

И при всей смешливости своей натуры, - веселый Колесакин совершенно забыл потешиться в душе над странным и тяжелым положением инженера Зайцева на другой день.

"Ложь"

Трудно понять китайцев и женщин. Я знал китайцев, которые два-три года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль - чудо хитроумия и терпения: корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени, - и все это было ни к чему... Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самой незначительной поездки, - сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца. Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех - масса терпения, хитрости - и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения.

Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи. Я приехал немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома адвокатом Лязговым. Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая,

оживленная жена Лязгова, которую час тому назад я мельком видел в театре сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой.

- Что же это, - весело вскричала жена Лязгова. - Около двенадцати, а публики еще нет?!

- Подойдут, - сказал Лязгов. - Откуда ты, Симочка?

- Я... была на катке, что на Бассейной, с сестрой Тарского.

Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны. Зачем она солгала? Что это значит? Я задумался. Зачем она солгала? Трудно предположить, что здесь был замешан любовник... В театре она все время сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или встречу с Таней Черножуковой.

Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два-три при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние... И тут же я подивился: какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать...

Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он обернулся к жене Лязгова и спросил:

- Ну, как сегодняшняя пьеса в театре... Интересна?

Серафима Петровна удивленно вскинула плечами.

- С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре.

- Как же не были? А я заезжал к Черножуковым - мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр.

Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку на коленях, усмехнулась:

- В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая; когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь иначе...

Лязгов, заинтересованный, взглянул на жену:

- Почему она должна была солгать?

- Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к своему поэту!

Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне.

- К поэту? К Гагарову? Но этого не может быть! Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал.

Серафима Петровна упрямо качнула головой и с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала:

- А он все-таки здесь!

- Не понимаю... - пожал плечами студент Конякин. - Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом известил бы меня.

- Он, кажется, скрывается, - постукивая носком ботинка о ковер, сообщила Серафима Петровна. - За ним следят.

Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове. Но студент Конякин забеспокоился:

- Следят??! Кто следит?

- Эти вот... Сыщики.

- Позвольте, Серафима Петровна... Вы говорите что-то странное: с какой стати сыщикам следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?!

Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, отдельно ответила:

- Не занимался, а теперь занимается. Впрочем, что мы все: Гагаров да Гагаров. Хотите, господа, чаю?

Пришел еще один гость - газетный рецензент Блюхин.

- Мороз, - заявил он, - а хорошо! Холодно до гадости. Я сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный на Бассейной каток.

- А жена тоже сейчас только оттуда, - прихлебывая чай из стакана, сообщил Лязгов. - Встретились?

- Что вы говорите?! - изумился Блюхин. - Я все время катался и вас, Серафима Петровна, не видел.

Серафима Петровна улыбнулась.

- Однако я там была. С Марьей Александровной Шемшуриной.
- Удивительно... Ни вас, ни ее я не видел. Это тем более странно, что каток ведь крошечный, - все как на ладони.
- Мы больше сидели все... около музыки, - сказала Серафима Петровна. - У меня винт на коньке расшатался.
- Ах так! Хотите, я вам сейчас исправлю? Я мастер на эти дела. Где он у вас?

Нога нервно застучала со ковру.

- Я уже отдала его слесарю.

- Как же это ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь ночь? - спросил Лязгов.

Серафима Петровна рассердилась.

- Так и отдала! Что ты пристал? Слесарная по случаю срочной работы была открыта. Я и отдала. Слесаря Матвеем зовут.

Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубку и перевязанной ленточкой.

- Извиняюсь, что опоздал, - раскланялся он. - Задержал прекрасный пол.

- На драматурга большой спрос, - улыбнулся Лязгов. - Кто же это тебя задержал?

- Шемшурина, Марья Александровна. Читал ей пьесу.

Лязгов захлопал в ладоши.

- Соврал, соврал драматург! Драматург скрывает свои любовные похождения! Никакой Шемшуриной ты не мог читать пьесу!

- Как не читал? - обводя компанию недоуменным, подозрительным взглядом, вскричал Селиванский. - Читал! Именно ей читал.

- Ха-ха! - засмеялся Лязгов. - Скажи же ему, Симочка, что он попался с поличным: ведь Шемшурина была с тобой на катке.

- Да, она со мной была, - кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом.

- Когда?! Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою "Комету".

- Вы что-нибудь спутали, - пожал плечами Серафима Петровна.

- Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать, Шемшуриной мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем?! Как так - спутать?

- Хотите чаю? - предложила Серафима Петровна.

- Да нет, разберемся: когда Шемшурина была с вами на катке?

- Часов в десять, одиннадцать.

Драматург всплеснул руками.

- Так поздравляю вас: в это самое время я читал ей дома пьесу.

Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь.

- Да? Может быть, на свете существуют две Шемшуриных? Или я незнакомую даму приняла за Марью Александровну? Или, может, я была на катке вчера. Ха-ха!..

- Ничего не понимаю! - изумился Селиванский.

- То-то и оно, - засмеялась Серафима Петровна. - То-то и оно! Ах, Селиванский, Селиванский...

Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись. Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине.

- Вы сегодня были на катке? - спросил я равнодушно.

- Да. С Шемшуриной.

- А я вас в театре сегодня видел. С Таней Черножуковой.

Она вспыхнула.

- Не может быть. Что же, я лгу, что ли?

- Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел.

- Вы приняли за меня кого-нибудь другого...

- Нет. Вы лжете неумело, впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую... Для чего вы солгали мужу о катке?

Ее нога застучала по ковру.

- Он не любит, когда я встречаюсь с Таней.
- А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней в театре. Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися губами.
- Вы этого не сделаете!
- Отчего же не сделать?.. Сделаю!
- Ну, милый, ну, хороший... Вы не скажете... да? Ведь не скажете?
- Скажу.

Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала:

- А теперь не скажете? Нет?

После чтения драмы - ужинали.

Серафима Петровна все время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа.

Среди разговора она спросила его:

- А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с трех часов. Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день он провел довольно беспутно: из Одессы к нему приехала знакомая француженка, кафешантанная певица, с которой он обедал у Контана, в кабинете; после обеда катались на автомобиле, потом он был у нее в Гранд-Отеле, а вечером завез ее в "Буфф", где и оставил.

- Где ты был сегодня?

Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил:

- Я был у Контана. Обедали. Один клиент из Одессы с женой-француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиле - она очень богатая - по делу об освобождении имения от описи. Затем я был в Гранд-Отеле у одного помещика, а вечером заехал на минутку в "Буфф" повидаться с знакомым. Вот и все.

Я улыбнулся про себя и подумал: "Да. Вот это ложь!"

"Поэт"

- Господин редактор, - сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на свои ботинки, - мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что отнимаю у вас минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния... Ради Бога, простите меня!

- Ничего, ничего, - ласково сказал я, - не извиняйтесь.

Он печально свесил голову на грудь.

- Нет, что уж там... Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть назойливым, это вдвойне тяжело.

- Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К сожалению, только ваши стихи не подошли.

- Э?

Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня.

- Эти стихи не подошли?!

- Да, да. Эти самые.

- Эти стихи?! Начинающиеся:

Хотел бы я ей черный локон

Каждое утро чесать

И, чтоб не гневался Аполлон,

Ее власы целовать...

Эти стихи, говорите вы, не пойдут?!

- К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами:

Хотел бы я ей черный локон...

- Почему же, господин редактор? Ведь они хорошие.

- Согласен. Лично я очень ими позабавился, но... для журнала они не подходят.

- Да вы бы их еще раз прочли!

- Да зачем же? Ведь я читал.

- Еще разик!

Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной половиной лица восхищение, а другой - сожаление, что стихи все-таки не подойдут.

- Гм... Тогда позвольте их... Я прочту! "Хотел бы я ей черный локон..."

Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал:

- Стихи не подходят.

- Удивительно. Знаете что: я вам оставлю рукопись, а вы после прочтите в нее. Вдруг да подойдет.

- Нет, зачем же оставлять?!

- Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?

- Не надо. Оставьте их у себя.

- Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени, но...

- До свиданья!

Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув ее, я увидел положенную между страниц бумажку. Прочел:

Хотел бы я ей черный локон...

Каждое утро чесать

И, чтобы не гневался Аполл...

- Ах, черт его возьми! Забыл свою белиберду... Опять будет шляться!

Николай! Догони того человека, что был у меня, и отдай ему эту бумагу.

Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил мое поручение.

В пять часов я поехал домой обедать.

Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там какую-то бумажку, неизвестно как в карман попавшую.

Вынул, развернул и прочел:

Хотел бы я ей черный локон

Каждое утро чесать

И, чтоб не гневался Аполлон,

Ее власы целовать... и т. д.

Недоумеваю, как эта штука попала ко мне в карман, я пожал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать.

Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала:

- Кухарка чичас нашла на полу кухни бумажку с написанным. Может, нужное.

- Покажи.

Я взял бумажку и прочел:

- "Хотел бы я ей черный ло..." Ничего не понимаю! Ты говоришь, в кухне, на полу? Черт его знает... Кошмар какой-то!

Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать.

- Чего ты такой задумчивый? - спросила жена.

- Хотел бы я ей черный ло... Фу-ты черт!! Ничего, милая. Устал я.

За десертом - в передней позвонили и вызвали меня... В дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем.

- Что такое?

- Тсс... Письмо вам! Велено сказать, что от одной барышни... Что она очень, мол, на вас надеются и что вы их ожидания удовлетворите!..

Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак. В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами, было запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав плечами, распечатал его, там оказалась бумажка, на которой было написано:

Хотел бы я ей черный локон...

Все от первой до последней строчки.

В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины выдвинулась жена и в зловещем молчании подобрала несколько обрывков письма.

- От кого это?

- Брось! Это так... глупости. Один очень надоедливый человек.

- Да? А что это тут написано?.. Гм... "Целовать"... "каждое утро"...

"черты... локон..." Негодяй!

В лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно больно, но обидно.

Так как обед был испорчен, то я оделся и, печальный, пошел побродить по улицам. На углу я заметил около себя мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаюсь всунуть в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. Я дал ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал.

На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся домой и на пороге парадных дверей столкнулся с нянькой, которая возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа.

- Папочка! - радостно закричал Володя. - Меня дядя держал на руках! Незнакомый... дал шоколадку... бумажечку дал... Передай, говорит, папе. Я, папочка, шоколадку съел, а бумажечку тебе принес.

- Я тебя высеку, - злобно закричал я, вырывая из его рук бумажку со знакомыми словами: "Хотел бы я ей черный локон"... - ты у меня будешь знать!..

Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-таки сочла нужным сообщить:

- Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов (вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят, меня это то - на продажных тварей) и просил замолвить словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как стихи... Ах! Когда он читал о локонах, то так смотрел на меня...

Я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежало знакомое мне желание автора целовать чьи-то волосы. Это желание я обнаружил и в ящике с сигарами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как это желание туда попало - кухарка толком объяснить не могла.

Желание чесать чьи-то волосы было усмотрено мной и тогда, когда я откинул одеяло с целью лечь спать. Я поправил подушку. Из нее выпало то же желание.

Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищенные кухаркой ботинки, попытался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то волосы.

Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских обязанностей.

Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на обороте знакомый почерк:

Хотел бы я ей черный локон...

"Мозаика"

- Я несчастный человек - вот что!

- Что за вздор?! Никогда я этому не поверю.

- Уверю тебя.

- Ты можешь уверять меня целую неделю, и все-таки я скажу, что ты несешь самый отчаянный вздор. Чего тебе недостает? Ты имеешь ровный, мягкий характер, деньги, кучу друзей и, главное, - пользуешься вниманием и успехом у женщин.

Вглядываясь печальными глазами в неосвещенный угол комнаты, Кораблев тихо сказал:

- Я пользуюсь успехом у женщин...

Посмотрел на меня исподлобья и смущенно сказал:

- Знаешь ли ты, что у меня шесть возлюбленных?!

- Ты хочешь сказать - было шесть возлюбленных? В разное время? Я, признаться, думал, что больше.

- Нет, не в разное время, - вскричал с неожиданным одушевлением в голосе Кораблев, - не в разное время!! Они сейчас у меня есть! Все!

Я в изумлении всплеснул руками:

- Кораблев! Зачем же тебе столько?

Он опустил голову.

- Оказывается, - меньше никак нельзя. Да... Ах, если бы ты знал, что это за беспокойная, хлопотливая штука... Нужно держать в памяти целый ряд фактов, уйму имен, запоминать всякие пустяки, случайно оброненные слова, изворачиваться и каждый день, с самого утра, лежа в постели, придумывать целый воз тонкой, хитроумной лжи на текущий день.

- Кораблев! Для чего же... шесть?

Он положил руку на грудь.

- Должен тебе сказать, что я вовсе не испорченный человек. Если бы я нашел женщину по своему вкусу, которая наполнила бы все мое сердце, - я женился бы завтра. Но со мной происходит странная вещь: свой идеал женщины я нашел не в одном человеке, а в шести. Это, знаешь, вроде мозаики.

- Мо-за-ики?

- Ну да, знаешь, такое из разноцветных кусочков складывается. А потом картина выходит. Мне принадлежит прекрасная идеальная женщина, но куски ее разбросаны в шести персонах...

- Как же это вышло? - в ужасе спросил я.

- Да так. Я, видишь ли, не из того сорта людей, которые, встретившись с женщиной, влюбляются в нее, не обращая внимания на многое отрицательное, что есть в ней. Я не согласен с тем, что любовь слепа. Я знал таких простаков, которые до безумия влюблялись в женщин за их прекрасные глаза и серебристый голосок, не обращая внимания на слишком низкую талию или большие красные руки. Я в таких случаях поступаю не так. Я влюбляюсь в красивые глаза и великолепный голос, но так как женщина без талии и рук существовать не может - отправляюсь на поиски всего этого. Нахожу вторую женщину - стройную, как Венера, с обворожительными ручками. Но у нее сентиментальный, плаксивый характер. Это, может быть, хорошо, но очень и очень изредка... Что из этого следует? Что я должен отыскать женщину с искрометным прекрасным характером и широким душевным размахом! Иду, ищу... Так их и набралось шестеро!

Я серьезно взглянул на него.

- Да, это действительно похоже на мозаику.

- Не правда ли? Форменная. У меня, таким образом, составилась лучшая, может быть, женщина в мире, но если бы ты знал - как это тяжело! Как это дорого мне обходится!..

Со стоном он схватил себя руками за волосы и закачал головой направо и налево.

- Все время я должен висеть на волоске. У меня плохая память, я очень рассеянный, а у меня в голове должен находиться целый арсенал таких вещей, которые, если тебе рассказать, привели бы тебя в изумление. Кое-что я, правда, записываю, но это помогает лишь отчасти.

- Как записываешь?

- В записной книжке. Хочешь? У меня сейчас минута откровенности, и я без утайки тебе все рассказываю. Поэтому могу показать и свою книжку. Только ты не смейся надо мной.

Я пожал ему руку.

- Не буду смеяться. Это слишком серьезно... Какие уж тут шутки!

- Спасибо. Вот видишь - скелет всего дела у меня отмечен довольно подробно. Смотри: "Елена Николаевна. Ровный, добрый характер, чудесные зубы, стройная. Поет. Играет на фортепиано".

Он почесал углом книжки лоб.

- Я, видишь ли, люблю очень музыку. Потом, когда она смеется - я получаю истинное наслаждение; очень люблю ее! Здесь есть подробности: "Любит, чтобы называли ее Лялей. Любит желтые розы. Во мне ей нравится веселье и юмор. Люб. шампанск. Аи. Набожн. Остерег. своб. рассужд. о религ. вопр. Остерег. спрашив. о подруге Китти. Подозрев., что подруга Китти неравнодушна ко мне"... Теперь дальше: "Китти... Сорванец, способный на всякую шалость. Рост маленький. Не люб., когда ее целуют в ухо. Кричит.

Остерег. целов. при посторонн. Из цветов люб. гиацинты. Шамп. только рейнское. Гибкая, как лоза, чудесно танц. матчиш. Люб. засахар. каштаны и ненавид. музыку. Остерег. музыки и упоминания об Елене Ник. Подозрев."

Кораблев поднял от книжки измученное, страдальческое лицо.

- И так далее. Понимаешь ли - я очень хитер, увертлив, но иногда бывают моменты, когда я чувствую себя летящим в пропасть...

Частенько случалось, что я Китти называл "дорогой единственной своей Настей", а Надежду Павловну просил, чтобы славная Маруся не забывала своего верного возлюбленного. В тех слезах, которые исторгались после подобных случаев, можно было бы с пользой выкупаться.

Однажды Лялю я назвал Соней и избежал скандала только тем, что указал на это слово, как на производное от слова "спать". И хотя она ни капельки не была сонная, но я победил ее своей правдивостью. Потом уже я решил всех поголовно называть дусями, без имени, благо что около того времени пришлось мне встретиться с девицей, по имени Дуся (прекрасные волосы и крошечные ножки. Люб. театр. Автомоб. ненавидит. Остерег. автомоб. и упомин. о Насте. Подозрев.).

Я помолчал.

- А они... тебе верны?

- Конечно. Так же, как я им. И каждую из них я люблю по-своему за то, что есть у нее хорошего. Но шестеро - это тяжело до обморока.

Это напоминает мне человека, который когда собирается обедать, то суп у него находится на одной улице, хлеб на другой, а за солью ему приходится бегать на дальний конец города, возвращаясь опять за жарким и десертом в разные стороны. Такому человеку, так же как и мне, приходилось бы день-деньской носиться как угорелому по всему городу, всюду опаздывать, слышать упреки и насмешки прохожих... И во имя чего?!

Я был подавлен его рассказом. Помолчав, встал и сказал:

- Ну, мне пора. Ты остаешься здесь, у себя?

- Нет, - отвечал Кораблев, безнадежно смотря на часы. - Сегодня мне в половине седьмого нужно провести вечер по обещанию у Елены Николаевны, а в семь - у Насти, которая живет на другом конце города.

- Как же ты устроишься?

- Я придумал сегодня утром. Заеду на минутку к Елене Николаевне и осыплю ее градом упреков за то, что на прошлой неделе знакомые видели ее в театре с каким-то блондином. Так как это сплошная выдумка, то она ответит мне в резком, возмущенном тоне, - я обижусь, хлопну дверью и уйду. Поеду к Насте.

Беседуя со мной таким образом, Кораблев взял палку, надел шляпу и остановился, задумчивый, что-то соображающий.

- Что с тобой?

Молча снял он с пальца кольцо с рубином, спрятал его в карман, вынул часы, перевел стрелки и затем стал возиться около письменного стола.

- Что ты делаешь?

- Видишь, тут у меня стоит фотографическая карточка Насти, подаренная мне с обязательством всегда держать ее на столе. Так как Настя сегодня ждет меня у себя и ко мне, следовательно, никоим образом не заедет, то я без всякого риска могу спрятать портрет в стол. Ты спросишь - почему я это делаю? Да потому, что ко мне может забежать маленький сорванец Китти и, не застав меня, захочет написать два-три слова о своем огорчении. Хорошо ли будет, если я оставлю на столе портрет соперницы? Лучше же я поставлю на это время карточку Китти.

- А если заедет не Китти, а Маруся... И вдруг она увидит на столе Киттин портрет?

Кораблев потер голову.

- Я уже думал об этом... Маруся ее в лицо не знает, и я скажу, что это портрет моей замужней сестры.

- А зачем ты кольцо снял с пальца?

- Это подарок Насти. Елена Николаевна однажды приревновала меня к этому

кольцу и взяла слово, чтоб я его не носил. Я, конечно, обещал. И теперь перед Еленой Николаевной я его снимаю, а когда предстоит встреча с Настей - надеваю. Помимо этого мне приходится регулировать запахи своих духов, цвет галстуков, переводить стрелки часов, подкупать швейцаров, извозчиков и держать в памяти не только все сказанные слова, но и то - кому они сказаны и по какому поводу.

- Несчастный ты человек, - участливо прошептал я.

- Я же тебе и говорил! Конечно, несчастный.

Расставшись на улице с Кораблевым, я потерял его из виду на целый месяц. Дважды за это время мною получаемы были от него странные телеграммы: "2 и 3 числа настоящего месяца мы ездил с тобой в Финляндию. Смотри не ошибись. При встрече с Еленой сообщи ей это". И: "Кольцо с рубином у тебя. Ты отдал его ювелиру, чтобы изготовить такое же. Напиши об этом Насте. Остерег. Елены".

Очевидно, мой друг непрерывно кипел в том страшном котле, который был им сотворен в угоду своему идеалу женщины; очевидно, все это время он как угорелый носился по городу, подкупал швейцаров, жонглировал кольцами, портретами и вел ту странную, нелепую бухгалтерию, которая его только и спасала от крушения всего предприятия.

Встретившись однажды с Настей, я вскользь упомянул, что взял на время у Кораблева прекрасное кольцо, которое теперь у ювелира, - для изготовления такого же другого.

Настя расцвела.

- Правда? Так это верно? Бедняжка он... Напрасно я так его обидела.

Кстати, вы знаете - его нет в городе! Он на две недели уехал к родным в Москву.

Я этого не знал, да и вообще был уверен, что это один из сложных бухгалтерских приемов Кораблева; но все-таки тут же счел долгом поспешно воскликнуть:

- Как же, как же! Я уверен, что он в Москве.

Скоро я, однако, узнал, что Кораблев действительно был в Москве и что с ним там случилось страшное несчастье. Узнал я об этом, по возвращении Кораблева, - от него самого.

- Как же это случилось?

- Бог его знает! Ума не приложу. Очевидно, вместо бумажника жулики вытащили. Я делал публикации, обещал большие деньги - все тщетно! Погиб я теперь окончательно.

- А по памяти восстановить не можешь?

- Да... попробуй-ка! Ведь там было, в этой книжке, все до мельчайших деталей - целая литература! Да еще за две недели отсутствия я все забыл, все перепуталось в голове, и я не знаю - нужно ли мне сейчас поднести Марусе букет желтых роз, или она их терпеть не может? И кому я обещал привезти из Москвы духи "Лотос" - Насте или Елене? Кому-то из них я обещал духи, а кому-то полдюжины перчаток номер шесть с четвертью... А может - пять три четверти? Кому? Кто швырнет мне в физиономию духи? И кто - перчатки? Кто подарил мне галстук, с обязательством надевать его при свиданиях? Соня? Или Соня, именно, и требовала, чтобы я не надевал никогда этой темно-зеленой дряни, подаренной - "я знаю кем!". Кто из них не бывал у меня на квартире никогда? И кто бывал? И чьи фотографии я должен прятать? И когда?

Он сидел с непередаваемым отчаянием во взоре. Сердце мое сжалось.

- Бедняга ты! - сочувственно прошептал я. - Дай-ка, может быть, я кое-что вспомню... Кольцо подарено Настей. Значит, "остерег. Елены"... Затем карточки... Если приходит Китти, то Марусю можно прятать, так как она ее знает, Настю - не прятать? Или нет - Настю прятать? Кто из них сходил за твою сестру? Кто из них кого знает?

- Не з-наю, - проронал он, сжимая виски. - Ничего не помню! Э, черт! Будь что будет.

Он вскочил и схватился за шляпу.

- Еду к ней!

- Сними кольцо, - посоветовал я.
- Не стоит. Маруся к кольцу равнодушна.
- Тогда надень темно-зеленый галстук.
- Если бы я знал! Если бы знать - кто его подарил и кто его ненавидит... Э, все равно!.. Прощай, друг.

Всю ночь я беспокоился, боясь за моего несчастного друга. На другой день утром я был у него. Желтый, измученный, сидел он у стола и писал какое-то письмо.

- Ну? Что, как дела?
- Он устало помотал в воздухе рукой.
- Все кончено. Все погибло. Я опять почти одинок!..
- Что же случилось?
- Дрянь случилась, бессмыслица. Я хотел действовать на авось...

Захватил перчатки и поехал к Соне. "Вот, дорогая моя Ляля, - сказал я ласково, - то, что ты хотела иметь! Кстати, я взял билеты в оперу. Мы пойдем, хочешь? Я знаю, это доставит тебе удовольствие..." Она взяла коробку, бросила ее в угол и, упавши ничком на диван, зарыдала. "Поезжайте, - сказала она, - к вашей Ляле и отдайте ей эту дрянь. Кстати, с ней же можете прослушать ту отвратительную оперную какофонию, которую я так ненавижу". - "Маруся, - сказал я, - это недоразумение!.." - "Конечно, - закричала она, - недоразумение, потому что я с детства - не Маруся, а Соня! Уходите отсюда!" От нее я поехал к Елене Николаевне... Забыл снять кольцо, которое обещал ей уничтожить, привез засахаренные каштаны, от которых ее тошнит и которые, по ее словам, так любит ее подруга Китти... Спросил у нее: "Почему у моей Китти такие печальные глазки?..", лепетал, растерявшись, что-то о том, что Китти - это производное от слова "спать", и, изгнанный, помчался к Китти спасать обломки своего благополучия. У Китти были гости... Я отвел ее за портьеру и, по своему обыкновению, поцеловал в ухо, отчего произошел крик, шум и тяжелый скандал. Только после я вспомнил, что для нее это хуже острого ножа... Ухо-то. Ежели его поцеловать...

- А остальные? - тихо спросил я.
- Остались двое: Маруся и Дуся. Но это - ничто. Или почти ничто. Я понимаю, что можно быть счастливым с целой гармоничной женщиной, но если эту женщину разрезают на куски, дают тебе только ноги, волосы, пару голосовых связок и красивые уши - будешь ли ты любить эти разрозненные мертвые куски?.. Где же женщина? Где гармония?
- Как так? - вскричал я.
- Да так... Из моего идеала остались теперь две крохотных ножки, волосы (Дуся) да хороший голос с парой прекрасных, сводивших меня с ума ушей (Маруся). Вот и все.
- Что же ты теперь думаешь делать?
- Что?
- В глазах его засветился огонек надежды.
- Что? Скажи, милый, с кем ты был позавчера в театре??? Такая высокая, с чудесными глазами и прекрасной, гибкой фигурой.
- Я призадумался.
- Кто?.. Ах да! Это я был со своей кузиной. Жена инспектора страхового общества.
- Милый! Познакомь!

"Золотой век"

По приезде в Петербург я явился к старому другу, репортеру Стремглавову, и сказал ему так:

- Стремглавов! Я хочу быть знаменитым.

Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил папиросу, закрутил на столе пепельницу, поболтал ногой - он всегда делал несколько дел сразу - и отвечал:

- Нынче многие хотят сделаться знаменитыми.

- Я не "многий", - скромно возразил я. - Василиев, чтоб они были Максимычами и в то же время Кандыбинами - встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комбинация!

- Ты давно пишешь? - спросил Стремглавов.

- Что... пишу?

- Ну, вообще, - сочиняешь!

- Да я ничего и не сочиняю.

- Ага! Значит - другая специальность. Рубенсом думаешь сделаться?

- У меня нет слуха, - откровенно сознался я.

- На что слуха?

- Чтобы быть этим вот... как ты его там назвал?.. Музыкантом...

- Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а художник.

Так как я не интересовался живописью, то не мог упомянуть всех русских художников, о чем Стремглавову и заявил, добавив:

- Я умею рисовать метки для белья.

- Не надо. На сцене играл?

- Играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви, у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску рояля на водку. Антрепренер и сказал, что лучше уж пусть я на самом деле таскаю на спине рояли. И выгнал меня.

- И ты все-таки хочешь стать знаменитостью?

- Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки!

Стремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько дел: взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумажку, бросил в корзину, вынул часы и, засвистав, сказал:

- Хорошо. Придется сделать тебя знаменитостью. Отчасти, знаешь, даже хорошо, что ты мешаешь Рубенса с Робинзоном Крузо и таскаешь на спине рояли, - это придает тебе оттенок непосредственности.

Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать все, что от него зависит.

На другой день я увидел в двух газетах в отделе "Новости" такую странную строку: "Здоровье Кандыбина поправляется".

- Послушай, Стремглавов, - спросил я, приехав к нему, - почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен.

- Это так надо, - сказал Стремглавов. - Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным... Публика любит, когда кто-нибудь поправляется.

- А она знает - кто такой Кандыбин?

- Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем, и все будут при встречах сообщать друг другу: "А здоровье Кандыбина поправляется".

- А если тот спросит: "Какого Кандыбина?"

- Не спросит. Тот скажет только: "Да? А я думал, что ему хуже".

- Стремглавов! Ведь они сейчас же и забудут обо мне!

- Забудут. А я завтра пушу еще такую заметку: "В здоровье нашего маститого..." Ты чем хочешь быть: писателем? художником?..

- Можно писателем.

- "В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7".

- А портрета еще не нужно?

- Рано. Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать заметку о котлете.

И он, озабоченный, убежал.

Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью.

Поправлялся я медленно, но верно. Температура падала, количество котлет, нашедших приют в моем желудке, все увеличивалось, а яйца я рисковал уже съест не только всмятку, но и вкрутую.

Наконец, я не только выздоровел, но даже пустился в авантюры.

"Вчера, - писала одна газета, - на вокзале произошло печальное

столкновение, которое может закончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками".

Этот инцидент вызвал в газетах шум.

Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил.

Одна газета говорила:

"Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей полной несообразностей стране. Скоро, вероятно, Кандыбин подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Ч*. И мы спрашиваем - справедливо ли это? С одной стороны - Кандыбин, с другой - какой-то никому не ведомый капитан Ч*".

"Мы уверены, - писала другая газета, - что друзья Кандыбина не допустят его до дуэли".

Большое впечатление произвело известие, что Стремглавов (ближайший друг писателя) дал клятву, в случае несчастного исхода дуэли, драться самому с капитаном Ч*.

Ко мне заезжали репортеры.

- Скажите, - спросили они, - что побудило вас дать капитану пощечину?

- Да ведь вы читали, - сказал я. - Он резко отзывался о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был бездарным писакой.

- Но ведь Айвазовский - художник! - изумленно воскликнул репортер.

- Все равно. Великие имена должны быть святыней, - строго отвечал я.

Сегодня я узнал, что капитан Ч* позорно отказался от дуэли, а я уезжаю в Ялту.

При встрече со Стремглавовым я спросил его:

- Что, я тебе надоел, что ты меня сплавляешь?

- Это надо. Пусть публика немного отдохнет от тебя. И потом, это шикарно: "Кандыбин едет в Ялту, надеясь окончить среди чудной природы юга большую, начатую им вещь".

- А какую вещь я начал?

- Драму "Грани смерти".

- Антрепренеры не будут просить ее для постановки?

- Конечно, будут. Ты скажешь, что, закончив, остался ею недоволен и сжег три акта. Для публики это канальски эффектно!

Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось несчастье: взбираясь по горной круче, я упал в долину и вывихнул себе ногу. Опять началась длинная и утомительная история с сидением на куриных котлетках и яйцах.

Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим... Дальнейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой последовательности и логики.

В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, а отправился в Бретань кончать комедию "На заре жизни". Пожар моего дома уничтожил рукопись, и поэтому (совершенно идиотский поступок) я приобрел клочок земли под Нюрнбергом.

Мне так надоели бессмысленные мытарства по белу свету и непроизводительная трата денег, что я отправился к Стремглавову и категорически заявил:

- Надоело! Хочу, чтобы юбилей.

- Какой юбилей?

- Двадцатипятилетний.

- Много. Ты всего-то три месяца в Петербурге. Хочешь десятилетний?

- Ладно, - сказал я. - Хорошо проработанные десять лет дороже бессмысленно прожитых двадцати пяти.

- Ты рассуждаешь, как Толстой, - восхищенно вскричал Стремглавов.

- Даже лучше. Потому что я о Толстом ничего не знаю, а он обо мне узнает.

Сегодня справлял десятилетний юбилей своей литературной и научно-просветительной деятельности...

На торжественном обеде один маститый литератор (не знаю его фамилии)

сказал речь:

- Вас приветствовали как носителя идеалов молодежи, как певца родной скорби и нищеты, - я же скажу только два слова, но которые рвутся из самой глубины наших душ: здравствуй, Кандыбин!!

- А, здравствуйте, - приветливо отвечал я, польщенный. - Как вы поживаете?

Все целовали меня.

"Петухов"

Муж может изменять жене сколько угодно и все-таки будет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым мужем, каким он был до измены.

Назидательная история, случившаяся с Петуховым, может служить примером этому.

Петухов начал с того, что, имея жену, пошел однажды в театр без жены и увидел там высокую красивую брюнетку. Их места были рядом, и это дало Петухову возможность, повернувшись немного боком, любоваться прекрасным мягким профилем соседки.

Дальше было так: соседка уронила футляр от бинокля - Петухов его поднял; соседка внимательно посмотрела на Петухова - он внутренне задрожал сладкой дрожью; рука Петухова лежала на ручке кресла - такую же позу пожелала принять и соседка... А когда она положила свою руку на ручку кресла - их пальцы встретились.

Оба вздрогнули, и Петухов сказал:

- Как жарко!

- Да, - опустив веки, согласилась соседка. - Очень. В горле пересохло до ужаса.

- Выпейте лимонаду.

- Неудобно идти к буфету одной, - вздохнула красивая дама.

- Разрешите мне проводить вас.

Она разрешила.

В последнем антракте оба уже болтали как знакомые, а после спектакля Петухов, провожая даму к извозчику, взял ее под руку и сжал локоть чуть-чуть сильнее, чем следовало. Дама пошевелилась, но руки не отняла.

- Неужели мы так больше и не увидимся? - с легким стоном спросил Петухов. - Ах! Надо бы нам еще увидеться.

Брюнетка лукаво улыбнулась:

- Тссс!.. Нельзя. Не забывайте, что я замужем.

Петухов хотел сказать, что это ничего не значит, но удержался и только прошептал:

- Ах, ах! Умоляю вас - где же мы увидимся?

- Нет, нет, - усмехнулась брюнетка. - Мы нигде не увидимся.

Бросьте и думать об этом. Тем более что я теперь каждый почти день бываю в скетинг-ринге.

- Ага! - вскричал Петухов. - О, спасибо, спасибо вам.

- Я не знаю - за что вы меня благодарите? Решительно недоумеваю. Ну, здесь мы должны проститься! Я сажусь на извозчика.

Петухов усадил ее, поцеловал одну руку, потом, помедлив одно мгновение, поцеловал другую.

Дама засмеялась легким смехом, каким смеются женщины, когда им щекочут затылок, - и уехала.

Когда Петухов вернулся, жена еще не спала. Она стояла перед зеркалом и причесывала на ночь волосы.

Петухов, поцеловав ее в голое плечо, спросил:

- Где ты была сегодня вечером?

- В синематографе.

Петухов ревниво схватил жену за руку и прошептал, пронзительно глядя в ее глаза:

- Одна?
- Нет, с Марусей.
- С Марусей? Знаем мы эту Марусю!
- Я тебя не понимаю.

- Видишь ли, милая... Мне не нравятся эти хождения по театрам и синематографам без меня. Никогда они не доведут до хорошего!

- Александр! Ты меня оскорбляешь... Я никогда не давала повода!!

- Э, матушка! Я не сомневаюсь - ты мне сейчас верна, но ведь я знаю, как это делается. Ха-ха! О, я прекрасно знаю вас, женщин! Начинается это все с пустяков. Ты, верная жена, отправляешься куда-нибудь в театр и находишь рядом с собой соседа, этакого какого-нибудь приятного на вид блондина. О, конечно, ты ничего дурного и в мыслях не имеешь. Но, предположим, ты роняешь футляр от бинокля или еще что-нибудь - он поднимает, вы встречаетесь взглядами... Ты, конечно, скажешь, что в этом нет ничего предосудительного? О да! Пока, конечно, ничего нет. Но он продолжает на тебя смотреть, и это тебя гипнотизирует... Ты кладешь руку на ручку кресла и - согласишься, это очень возможно - ваши руки соприкасаются. И ты, милая, ты (Петухов со стоном ревности бешено схватил жену за руку) вздрагиваешь, как от электрического тока. Ха-ха! Готово! Начало сделано!! "Как жарко", - говорит он. "Да, - простодушно отвечаешь ты. - В горле пересохло..." - "Не желаете ли стакан лимонаду?" - "Пожалуй..."

Петухов схватил себя за волосы и запрыгал по комнате. Его ревнивый взгляд жег жену.

- Леля, - простонал он. - Леля! Признайся!.. Он потом мог взять тебя под руку, провожать до извозчика и даже - негодяй! - при этом мог добиваться: когда и где вы можете встретиться. Ты, конечно, свидания ему не назначила - я слишком для этого уважаю тебя, но ты могла, Леля, могла ведь вскользь сообщить, что ты часто посещаешь скетинг-ринг или еще что-нибудь... О, Леля, как я хорошо знаю вас, женщин!!

- Что с тобой, глупенький? - удивилась жена. - Ведь этого же всего не было со мной...

- Берегись, Леля! Как бы ты ни скрывала, я все-таки узнаю правду! Остановись на краю пропасти!

Он тискал жене руки, бегал по комнате и вообще невыносимо страдал.

Первое лицо, с которым встретился Петухов, приехав в скетинг-ринг, была Ольга Карловна, его новая знакомая.

Увидев Петухова, она порывистым искренним движением подалась к нему всем телом и с криком радостного изумления спросила:

- Вы? Каким образом?
- Позвольте быть вашим кавалером?
- О да. Я здесь с кузиной. Это ничего. Я познакомлю вас с ней.

Петухов обвил рукой талию Ольги Карловны и понесся с ней по скользкому блестящему асфальту.

И, прижимая ее к себе, он чувствовал, как часто-часто под его рукой билось ее сердце.

- Милая! - прошептал он еле слышно. - Как мне хорошо...

- Тссс... - улыбнулась розовая от движения и его прикосновений Ольга Карловна. - Таких вещей замужним дамам не говорят.

- Я не хочу с вами расставаться долго-долго. Давайте поужинаем вместе.
- Вы с ума сошли! А кузина! А... вообще...
- "Вообще" - вздор, а кузину домой отправим.
- Нет, и не думайте! Она меня не оставит!

Петухов смотрел на нее затуманенными глазами и спрашивал:

- Когда? Когда?
- Ни-ког-да! Впрочем, завтра я буду без нее.
- Спасибо!..
- Я не понимаю, за что вы меня благодарите?

- Мы поедем куда-нибудь, где уютно-уютно. Клянусь вам, я не позволю себе ничего лишнего!!

- Я не понимаю... что вы такое говорите? Что такое - уютно?

- Солнце мое лучистое! - уверенно сказал Петухов.

Приехав домой, он застал жену за книжкой.

- Где ты был?

- Заезжал на минутку в скетинг-ринг. А что?

- Я тоже поеду туда завтра. Эти коньки - прекрасная вещь.

Петухов омрачился.

- Ага! Понимаю-с! Все мне ясно!

- Что?

- Да, да... Прекрасное место для встреч с каким-нибудь полужнакомым прохожей. У-у, подлая!

Петухов сердито схватил жену за руку и дернул.

- Ты... в своем уме?

- О-о, - горько засмеялся Петухов, - к сожалению, в своем. Я тебя понимаю! Это делается так просто! Встреча и знакомство в каком-нибудь театре, легкое впечатление от его смазливой рожи, потом полуназначенное полусвидание в скетинг-ринге, катанье в обнимку, идиотский шепот и комплименты. Он - не будь дурак - сейчас тебе: "Поедем куда-нибудь в уютный уголок поужинать". Ты, конечно, сразу не согласишься...

Петухов хрипло, страдальчески засмеялся.

- Не согласишься... "Я, - скажешь ты, - замужем, мне нельзя, я с какой-нибудь дурацкой кузиной!" Но... змея! Я прекрасно знаю вас, женщин, - ты уже решила на другой день поехать с ним, куда он тебя повезет. Берегись, Леля!

Растерянная, удивленная жена сначала улыбалась, а потом, под тяжестью упреков и угроз, заплакала.

Но Петухову было хуже. Он страдал больше жены.

Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала.

Пробило три часа.

Жена проснулась и увидела близко около себя два горящих подозрительных глаза и исковерканное внутренней болью лицо.

- Спите? - прошептал он. - Утомились? Ха-ха. Как же... Есть от чего утомиться! Страстные, грешные объятия - они утомляют!!

- Милый, что с тобой? Ты бредишь?

- Нет... я не брежу. О, конечно, ты могла быть это время и дома, но кто, кто мне поклянется, что ты не была сегодня на каком-нибудь из скетинг-рингов и не встретила с одним из своих знакомых?! Это ничего, что знакомство продолжается три-четыре дня... Ха-ха! Почва уже подготовлена, и то, что ты говоришь ему о своем муже, о доме, умоляешь его не настаивать, - это, брат, последние жалкие остатки прежнего голоса добродетели, последняя никому не нужная борьба...

- Саша!!

- Что там - Саша!

Петухов схватил жену за руку выше локтя так, что она застонала.

- О, дьявольские порождения! Ты, едучи даже в кабинет ресторана, твердишь о муже и сама же чувствуешь всю бесцельность этих слов. Не правда ли? Ты стараешься держаться скромно, но первый же бокал шампанского и поцелуй после легкого сопротивления приближает тебя к этому ужасному проклятому моменту... Ты! Ты, чистая, добродетельная женщина, только и находишь в себе силы, что вскричать: "Боже, но ведь сюда могут войти!" Ха-ха! Громадный оплот добродетели, который рушится от повернутого в дверях ключа и двух рублей лакею на чай!! И вот - гибнет все! Ты уже не та моя Леля, какой была, не та, черт меня возьми!! Не та!!

Петухов вцепился жене в горло руками, упал на колени у кровати и, обессиленный, зарыдал хватаящим за душу голосом.

Прошло три дня.

Петухов приехал домой к обеду, увидел жену за вязаньем, заложил руки в карманы и, презрительно прищурившись, рассмеялся:

- Дома сидите? Так. Кончен, значит, роман! Недолго же он продолжался,

недолго. Ха-ха. Это очень просто... Стоит ему, другу сердца, встретить тебя едущей на извозчике по Московской улице чуть не в объятиях рыжего офицера генерального штаба, - чтобы он написал тебе коротко и ясно: "Вы могли изменить мужу со мной, но изменять мне со случайно подвернувшимся рыжеволосым сыном Марса - это слишком! Надеюсь, вы должны понять теперь, почему я к вам совершенно равнодушен и - не буду скрывать - даже ощущаю в душе легкий налет презрения и сожаления, что между нами была близость. Прощайте!"

Жена, приложив руку к бьющемуся сердцу, встревоженная, недоумевающая, смотрела на Петухова, а он прищелкивал пальцами, злорадно подмигивал ей и шипел:

- А что - кончен роман?! Кончен?! Так и надо. Так и надо! Го-го-го!
Довольно я, душа моя, перестрадал за это время!!

"Неизлечимые"

Спрос на порнографическую литературу упал.

Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию. (Книжн. известия)

Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.

- В чем дело?

- Вещь!

- Которая?

- Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса - так и быть, отдам!

Издатель нахмурил брови.

- Повесть?

- Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется! Вот вам наудачу две-три выдержки.

Писатель развернул рукопись.

- "...Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте..."

- Еще что? - сухо спросил издатель.

- Еще я такую штучку вывернул: "Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел... На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди, и все заверте..."

- Еще что? - спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.

- А... еще... вот... Зззз... бавно! "Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах... Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте..."

- Не надо, - сказал издатель.

- Что не надо? - вздрогнул писатель Кукушкин.

- Не надо. Идите, идите с Богом.

- В-вам... не нравится? У... у меня другие места есть... Внучек увидел бабушку в купальне... А она еще была молодая...

- Ладно, ладно. Знаем! Не помня себя, он бросился к ней, схватил ее в объятия, и все заверте...

- Откуда вы узнали? - ахнул, удивившись, писатель Кукушкин. - Действительно, так и есть у меня.

- Штука нехитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.

Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся:

- А где тут у вас корзина?

- Вот она, - указал издатель.

Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:

- О чем нужно?

- Первее всего теперь читается естествознание и исторические книги.

Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных...

- А аванс дадите?

- Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не дам! И под "все завертелось" не дам!!!

- Давайте под муху, - вздохнул писатель Кукушкин.

Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие:

I. Боярская проруха

Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел молодой князь Курбский.

Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.

- Ой, ты, гой, еси! - воскликнул он на старинном языке того времени.

- Ой, ты, гой, еси, исполать тебе, добрый молодец! - воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и - все заверте...

II. Мухи и их привычки

ОЧЕРКИ ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ

Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна.

Звали ее по-мушиному - Лидия.

Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим... Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте...

"Здание на песке"

Я сидел в уголку и задумчиво смотрел на них.

- Чья это ручонка? - спрашивал муж Митя жену Липочку, теребя ее за руку.

Я уверен, что муж Митя довольно хорошо был осведомлен о принадлежности этой верхней конечности именно жене Липочке, а не кому-нибудь другому, и такой вопрос задавался им просто из праздного любопытства...

- Чья это маленькая ручонка?

Самое простое - жене нужно было бы ответить: "Мой друг, эта рука принадлежит мне. Неужели ты не видишь сам?"

Вместо этого жена считает необходимым беззастенчиво солгать мужу прямо в глаза:

- Эта рука принадлежит одному маленькому дурачку.

Не опровергая очевидной лжи, муж Митя обнимает жену и начинает ее целовать. Зачем он это делает, бог его знает.

Затем муж бережно освобождает жену из своих объятий и, глядя на ее неестественно полный живот, спрашивает меня:

- Как ты думаешь, что у нас будет?

Этот вопрос муж Митя задавал мне много раз, и я каждый раз неизменно отвечал:

- Окрошка, на второе голубцы, а потом - крем.

Или:

- Завтра? Кажется, пятница.

Отвечал я так потому, что не люблю глупых, праздных вопросов.

- Да нет же! - хохотал он. - Что у нас должно родиться?

- Что? Я думаю, лишенным всякого риска мнением будет, что у вас скоро должен родиться ребенок.

- Я знаю! А кто? Мальчик или девочка?

Мне хочется дать ему практический совет: если он так интересуется полом будущего ребенка, пусть вскроет столовым ножиком жену и посмотрит. Но мне кажется, что он будет немного шокирован этим советом, и я говорю просто и бесцельно:

- Мальчик.

- Ха-ха! Я сам так думаю! Такой большущий, толстый, розовый мальчуган... Судя по некоторым данным, он должен быть крупным ребенком... А? Как ты думаешь... Что мы из него сделаем?

Муж Митя так надоел мне этими вопросами, что я хочу предложить вслух: "Котлеты под морковным соусом".

Но говорю:

- Инженера.

- Правильно. Инженера или доктора. Липочка! Ты показывала уже Александру свивальнички? А нагрудничков еще не показывала? Как же это так?! Покажи.

Я не считаю преступлением со стороны Липочки ее забывчивость и осторожно возражаю:

- Да зачем же показывать? Я после когда-нибудь увижу.

- Нет, чего там после. Я уверен, тебя это должно заинтересовать.

Передо мной раскладываются какие-то полотняные сверточочки, квадратики.

Я трогаю пальцем один и робко говорю:

- Хороший нагрудничек.

- Да это свивальник! А вот как тебе нравится сия вещь?

Сия вещь решительно мне нравится. Я радостно киваю головой:

- Панталончики?

- Чепчик. Видите, тут всего по шести перемен, как раз хватит. А колыбельку вы не видели?

- Видел. Три раза видел.

- Пойдемте, я вам еще раз покажу. Это вас позабавит.

Начинается тщательный осмотр колыбельки.

У мужа Мити на глазах слезы.

- Вот тут он будет лежать... Большой, толстый мальчишка. "Папочка,

- скажет он мне, - папочка, дай мне карамельку!" Гм... Надо будет завтра про запас купить карамели.

- Купи пуд, - советую я.

- Пуд, пожалуй, много, - задумчиво говорит муж Митя, возвращаясь с нами в гостиную.

Рассаживаемся. Начинается обычный допрос:

- А кто меня должен поцеловать?

Жена Липочка догадывается, что этот долг всецело лежит на ней.

- А чьи это губки?

Из угла я говорю могильным голосом:

- Могу заверить тебя честным словом, что губы, как и все другое на лице твоей жены, принадлежат именно ей!

- Что?

- Ничего. Советую тебе сделать опись всех конечностей и частей тела твоей жены, если какие-нибудь сомнения терзают тебя... Изредка ты можешь проверять наличность всех этих вещей.

- Друг мой... я тебя не понимаю... Он, Липочка, кажется, сегодня нервничает. Не правда ли?.. А где твои глазки?

- Эй! - кричу я. - Если ты нащупаешь ее нос, то по левой и правой

стороне, немного наискосок, можешь обнаружить и глаза!... Не советую даже терять времени на розыски в другом месте!

Вскакиваю и, не прощаясь, ухожу. Слышу за своей спиной полный любопытства вопрос:

- А чьи это ушки, которые я хочу поцеловать?..

Недавно я получил странную записку:

"Дорог Александр! Сегодня она, кажется, уже! Ты понимаешь?.. Приходи, посмотрим на пустую колыбельку она чувствует себя превосход. Купил на всякий слу. карамель. Остаюсь твой счастливый муж, а вскорости и счастли. отец!!!?! Ого-го-го!!!"

"Бедняга помешается от счастья", - подумал я, взбегаю по лестнице его квартиры.

Дверь отворил мне сам муж Митя.

- Здравствуй, дружище! Что это у тебя такое растерянное лицо?

Можно поздравить?

- Поздравь, - сухо ответил он.

- Жена благополучна? Здорова?

- Ты, вероятно, спрашиваешь о той жалкой кляче, которая валяется в спальне? Они еще, видите ли, не пришли в себя... ха-ха!

Я откачнулся от него.

- Послушай... ты в уме? Или от счастья помешался?

Муж Митя сардонически расхохотался:

- Ха-ха! Можешь поздравить... пойдём, покажу.

- Он в колыбельке, конечно?

- В колыбельке - черта с два! В корзине из-под белья!

Ничего не понимая, я пошел за ним и, приблизившись к громадной корзине из-под белья, с любопытством заглянул в нее.

- Послушай! - закричал я, отскочив в смятении. - Там, кажется, два!

- Два? Кажется, два? Ха-ха! Три, черт меня возьми, три!! Два наверху, а третий куда-то вниз забился. Я их свалил в корзину и жду, пока эта идиотка акушерка и воровка нянька не начнут пеленать...

Он утер глаза кулаком. Я был озадачен.

- Черт возьми... Действительно! Как же это случилось?

- А я почему знаю? Разве я хотел? Еще радовался, дурак: большой, толстый мальчишка!

Он покачал головой.

- Вот тебе и инженер!

Я попробовал утешить его:

- Да не печалься, дружище. Еще не все потеряно...

- Да как же! Теперь я погиб...

- Почему?

- Видишь ли, пока что я лишился всех своих сорочек и простынь, которые нянька сейчас рвет в кухне на пеленки. У меня забрали все наличные деньги на покупку еще двух колыбелей и наем двух мамок... Ну... и жизнь моя в будущем разбита. Я буду разорен. Всю эту тройку негодяев приходится кормить, одевать, а когда подрастут - учить... Если бы они были разного возраста, то книги и платья старшего переходили бы к среднему, а потом к младшему... Теперь же книги нужно покупать всем вместе, в гимназию отдавать сразу, а когда они подрастут, то папирос будут воровать втрое больше... Пропало... все пропало... Это жалкое, пошлое творение, когда очнется, попросит показать ей ребенка, а которого я ей предъявлю? Я думаю всех вместе показать - она от ужаса протянет ноги... как ты полагаешь?

- Дружище! Что ты говоришь! Еще на днях ты спрашивал у нее: "А чья это ручка? Чьи ушки?"

- Да... Попались бы мне теперь эти ручки и губки! О, черт возьми! Все исковеркано, испорчено... Так хорошо началось... Свивальнички, колыбельки... инженер...

- Чем же она виновата, глупый ты человек? Это закон природы.

- Закон? Беззаконие это! Эй, нянька! Принеси колыбельки для этого

мусора! Вытряхивай их из корзины! Да поставь им на спине чернилами метки, чтобы при кормлении не путать... О Господи!

Выходя, я натолкнулся в полутемной передней на какую-то громадную жестяную коробку. Поднявши, прочел: "Детская карамель И. Кукушкина. С географическими описаниями для самообразования".

"Широкая Масленица"

Кулаков стоял перед хозяином гастрономического магазина и говорил ему:

- Шесть с полтиной? С ума сойти можно! Мы, Михайло Поликарпыч, сделаем тогда вот что... Вы мне дайте коробку зернистой в фунт, а завтра по весу обратно примете... Что съедим - за то заплачу. У нас-то ее не едят, а вот гость нужный на блинах будет, так для гостя, а?

"Чтоб тебе лопнуть, жила!" - подумал хозяин, а вслух сказал:

- Неудобно это как-то... Ну, да раз вы постоянный покупатель, то разве для вас. Гришка, отвесь!

Кулаков подвел гостя к столу и сказал, потирая руки:

- Водочки перед блинами, а? В этом удивительном случае хорошо очищенную, а? Хе-хе-хе!..

Гость опытным взглядом обвел стол.

- Нет-с, я уж коньячку попрошу! Вот эту рюмочку побольше.

Хозяин вздохнул и прошептал:

- Как хотите. На то вы гость.

И налил рюмку, стараясь недолить на полпальца.

- Полненькую, полненькую! - весело закричал гость и, игриво ткнув

Кулакова пальцем в плечо, прибавил: - Люблю полненьких!

- Ну-с... ваше здоровье! А я простой выпью. Прошу закусить: вот грибки, селедка, кильки... Кильки, должен я вам сказать, поражающие!

- Те-те-те! - восторженно закричал гость. - Что вижу я! Зернистая икра, и, кажется, очень недурная! А вы, злодей, молчите!

- Да-с, икра... - побелевшими губами прошептал Кулаков. - Конечно, можно и икры... Пожалуйста вот ложечку.

- Чего-с? Чайную? Хе-хе! Подымай выше. Зернистая икра хороша именно тогда, когда ее едят столовой ложкой. Ах, хорошо! Попрошу еще рюмочку коньяку. Да чего вы такой мрачный? Случилось что-нибудь?

Хозяин придвинул гостю тарелку с селедкой и страдальчески ответил:

- Жизнь не веселит! Всеобщий упадок дел... Дороговизна предметов первой необходимости, не говоря уже о предметах роскоши... Да так, к слову сказать, знаете, почем теперь эта зернистая икра? Шесть с полтиной!

Гость зажмурился.

- Что вы говорите! А вот мы ее за это! На шесть гривен... на хлеб... да в рот... Гам! Вот она и наказана.

Хозяин сжал под столом кулаки и, стараясь улыбнуться, жизнерадостно воскликнул:

- Усиленно рекомендую вам селедку! Во рту тает.

- Тает? Скажите. Таять-то она, подлая, тает, а потом подведет - изжогой наделит. Икра же, заметьте, почтеннейший, не выдаст. Блаагороднейшая дама!

- А что вы скажете насчет этих малюток? Немцы считают кильку лучшей закуской!

- Так то немцы, - резонно заметил гость. - А мы, батенька, русские.

Широкая натура! А ну, еще... "Черпай, черпай источник! Да не иссякнет он", - как сказал какой-то поэт.

- Никакой поэт этого не говорил, - злобно возразил хозяин.

- Не говорил? Он был, значит, неразговорчивый. А коньяк хорош! С икрой.

Хозяин заглянул в банку, погасил в груди беззвучный стон и придвинул гостю ветчину.

- Вы почему-то не кушаете ветчины... Неужели вы стесняетесь?

- Что вы! Я чувствую себя как дома! "Положим, дома ты бы зернистую икру

столовой ложкой не лопал", - хотел сказать вслух Кулаков, но подумал это про себя, а вслух сказал:

- Вот и блины несут. С маслом и сметаной.

- И с икрой, добавьте, - нравоучительно произнес гость. - Икра - это Марфа и Онега всего блинного, как говаривал один псаломщик. Понимаете? Это он вместо Альфы и Омеги говорил... Марфа и Онега! Каково? Хе-хе!

Потом гость тупо посмотрел на стол и удивленно воскликнул:

- Черт возьми! Икра, как живая. Я ее придвигаю сюда, а она отодвигается туда... Совершенно незаметно!

- Неужели? - удивился печальный хозяин и прибавил: - А вот мы ее опять придвинем.

И придвинул грибки.

- Да это грибки, - добродушно сказал гость.

- А вы... чего же хотели?

- Икры. Там еще есть немного к блинам.

- Господи! - проскрежетал Кулаков, злобно смотря на гостя.

- Что такое?

- Кушайте, пожалуйста, кушайте!

- Я и ем.

Зубы хозяина стучали, как в лихорадке.

- Кушайте, кушайте!! Вы мало икры ели, еще кушайте... Кушайте побольше.

- Благодарю вас. Я ее еще с коньячком. Славный коньячишка.

- Славный коньячишка! Вы и коньячишку еще пейте... Может быть, вам шампанское открыть, ананасов, а? Кушайте!

- Дело! Только вы, дружище, не забегайте вперед... Оставим место и для шампанского, и для ананасов... Пока я - сию брюнеточку. Кажется, немного еще осталось?

- Куш... кушайте! - сверкая безумными глазами, взвизгнул хозяин.

- Может, столовая ложка мала? Не дать ли разливательную? Чего же вы стесняетесь - кушайте! Шампанского? И шампанского дам! Может, вам нравится моя новая шуба? Берите шубу! Жилетка вам нравится? Сниму жилетку! Забирайте стулья, комод, зеркало... Деньги нужны? Хватайте бумажник, ешьте меня самого... Не стесняйтесь, будьте как дома! Ха-ха-ха!!

И, истерически хохоча и плача, Кулаков грохнулся на диван. Выпучив в ужасе и недоуменье глаза, смотрел на него гость, и рука с последней ложкой икры недвижно застыла в воздухе.

"Рыцарь индустрии"

Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в то время жил, - и упал на мостовую.

Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибленную спину:

- Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?

- Почему не можете? - добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направлению окна второго этажа. - Конечно же можете.

- Зайдите ко мне в таком случае, - сказал я, отходя от окна.

Он вошел веселый, улыбающийся. Протянул мне руку и сказал:

- Цацкин.

- Очень рад. Не ушиблись ли вы?

- Чтобы сказать вам - да, так - нет! Чистейшей воды пустяки.

- Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины? - подмигивая, спросил я. - Хе-хе.

- Хе-хе! А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев, хе-хе?! Не желаете ли - могу предложить серию любопытных открыточек? Немецкий жанр! Понимающие люди считают его выше французского.

- Нет, зачем же, - удивленно возразил я, всматриваясь в него. - Послушайте... ваше лицо кажется мне знакомым. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая?..

- Ничего подобного! Это было третьего дня. А вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но, правду сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых ступенек.

Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал:

- Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ: я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей смерти.

- Так вы - агент по страхованию жизни? - сухо сказал я. - Чем же я могу быть вам полезен?

- Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопрос: как вы хотите у нас застраховаться - на дожитие или с уплатой премии вашим близким после - дай вам Бог здоровья - вашей смерти?

- Никак я не хочу страховаться, - замотал я головой. - Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет... Я одинок.

- А супруга?

- Я холост.

- Так вам нужно жениться - очень просто! Могу вам предложить девушку - пальчики оближете! Двенадцать тысяч приданого, отец две лавки имеет! Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же и поехать посмотреть. Сюртук, белый жилет. Если нет - можно купить готовые. Адрес - магазин "Оборот"... Наша фирма...

- Господин Цацкин, - возразил я. - Ей-богу же, я не хочу и не могу жениться! Я вовсе не создан для семейной жизни...

- Ой! Не созданы? Почему? Может, вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь... Это сущий, поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет собою радость каждому меланхоличному мужчине. Шесть тысяч книг бесплатно! Имеем массу благодарностей! Пробный флакончик...

- Оставьте ваши пробные флакончики при себе, - раздражительно сказал я. - Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушить к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост...

- Что такое лысина? Если вы помажете ее средством нашей фирмы, которой я состою представителем, так обростете волосами, как, извините, кокосовый орех! А морщины, а уши? Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью... Всякие уши как рукой снимет! Рост? Наш гимнастический прибор через каждые шесть месяцев увеличивает рост на два вершка. Через два года вам уже можно будет жениться, а через пять лет вас уже можно будет показывать! А вы мне говорите - рост...

- Ничего мне не нужно! - сказал я, сжимая виски. - Простите, но вы мне действуете на нервы...

- На нервы? Так он молчит!.. Патентованные холодные души, могущие складываться и раскладываться! Есть с краном, есть с разбрызгивателем. Вы человек интеллигентный и очень мне симпатичный... Поэтому могу посоветовать взять лучше разбрызгиватель. Он дороже, но...

Я схватился за голову.

- Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите: сколько вам надо тюбиков нашей пасты "Мигренин" - фирма уж сама доставит вам на дом...

- Извините, - сказал я, закусывая губу, - но прошу оставить меня. Мне некогда. Я очень устал, а мне предстоит утомительная работа - писать статью...

- Утомительная? - сочувственно спросил господин Цацкин. - Я вам скажу - она утомительна потому, что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пюпитра для чтения и письма! Нормальное положение, удобный наклон... За две штуки семь рублей, а за три - десять...

- Пошел вон! - закричал я, дрожа от бешенства. - Или я проломлю тебе голову этим пресс-папье!!

- Этим пресс-папье? - презрительно сказал господин Цацкин, ощупывая

пресс-папье на моем письменном столе. - Этим пресс-папье... Вы на него дуньте - оно улетит! Нет, если вы хотите иметь настоящее тяжелое пресс-папье, так я вам могу предложить целый прибор из малахита...

Я нажал кнопку электрического звонка.

- Вот сейчас придет человек - прикажу ему вывести вас!

Скорбно склонив голову, господин Цацкин сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего обещания. Прошло две минуты. Я позвонил снова.

- Хорошие звонки, нечего сказать, - покачал головой господин Цацкин. - Разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят. Позвольте вам предложить звонки с установкой и элементами за семь рублей шестьдесят копеек. Изящные звонки...

Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и потащил к выходу.

- Идите! Или у меня сейчас будет разрыв сердца...

- Это не дай Бог, но вы не беспокойтесь! Мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет той пышности, как первый, но катафалк...

Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу. Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась, дверь вздрогнула от осторожного напора и - распахнулась. Господин Цацкин робко вошел в комнату и, прищурясь, сказал:

- В крайнем случае могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся... Они отворяются от простого нажима! Хорошие английские замки вы можете иметь через меня - один прибор два рубля сорок копеек, за три - шесть рублей пятьдесят копеек, а пять штук...

Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскрежетав зубами, закричал:

- Сейчас я буду стрелять в вас!

Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и ответил:

- Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на мне для образца и который могу вам предложить. Одна штука - восемнадцать рублей, две дешевле, три еще дешевле. Прошу вас убедиться!..

Я отложил револьвер и, схватив господина Цацкина поперек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно. Падая, он успел крикнуть мне:

- У вас очень непрактичные запонки на манжетах! Острые углы, рвущие платье и оцарапавшие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией, пара два рубля, три пары де...

Я захлопнул окно.

"Знаток женского сердца"

I

Когда на Макса Двухтрубникова напал прилив откровенности, он простодушно признавался:

- Я не какой-нибудь там особенный человек... О нет! Во мне нет ничего этакого... небесного. Я самый земной человек.

- В каком смысле - земной?

- Я? Реалист-практик. Трезвая голова. Ничего небесного. Только земное и земное. Но психолог. Но душу человеческую я понимаю.

Однажды, сидя в будуаре Евдокии Сергеевны и глядя на ее распухшие от слез глаза, Макс пожал плечами и сказал:

- Плакали? От меня ничего не скроется... Я психолог. Не нужно плакать. От этого нет ни выгоды, ни удовольствия.

- Вам бы только все выгода и удовольствие, - покачала головой Евдокия Сергеевна, заправляя под наколку прядь полуседых волос.

- Обязательно. Вся жизнь соткана из этого. Конечно, я не какой-нибудь там небесный человек. Я земной.

- Да? А я вот вдвое старше вас, а не могу разобраться в жизни.

Она призадумалась и вдруг решительно повернула заплаканное лицо к Максусу.

- Скажите, Мастаков - пара для моей Лиды или не пара?

- Мастаков-то? Конечно, не пара.

- Ну вот: то же самое и я ей говорю. А она и слышать не хочет. Влюблена до невероятности. Я уж, знаете, - грешный человек - пробовала и наговаривать на него, и отрицательные стороны его выставлять - и ухом не ведет.

- Ну знаете... Это смотря какие стороны выставить... Вы что ей говорили?

- Да уж будьте покойны - не хорошее говорила: что он и картежник, и мот, и женщины за ним бегают, и сам он-де к женскому полу равнодушен... Так расписала, что другая бы и смотреть не стала.

- Мамаша! Простите, что я называю вас мамашей, но в уме ли вы? Ведь это нужно в затмении находиться, чтобы такое сказать!! Да знаете ли вы, что этими вашими наговорами, этими его пороками вы втрое крепче привязали ее сердце!! Мамаша! Простите, что я вас так называю, но вы поступили по-сапожнически.

- Да я думала ведь, как лучше.

- Мамаша! Хуже вы это сделали. Все дело испортили. Разве так наговаривают? Подумаешь - мот, картежник... Да ведь это красиво! В этом есть какое-то обаяние. И Герман в "Пиковой даме" - картежник, а смотрите, в каком он ореоле ходит... А отношение женщин... Да ведь она теперь, Лида ваша, гордится им, Мастаковым этим паршивым: "Вот, дескать, какой покоритель сердец!.. Ни одна перед ним не устоит, а он мой!" Эх вы! Нет, наговаривать, порочить, унижать нужно с толком... Вот я наговорю так наговорю! И глядеть на него не захочет...

- Макс... Милый... Поговорите с ней.

- И поговорю. Друг я вашей семье или не друг? Друг. Ну значит, моя обязанность позаботиться. Поговорим, поговорим. Она сейчас где?

- У себя. Кажется, письмо ему пишет.

- К черту письмо! Оно не будет послано!.. Мамаша! Вы простите, что я называю вас мамашей, но мы камня на камне от Мастакова не оставим.

II

- Здравствуйте, Лидия Васильевна! Письмецо строчите? Дело хорошее. А я зашел к вам поболтать. Давно видели моего друга Мастакова?

- Вы разве друзья?

- Мы-то? Водой не разольешь. Я люблю его больше всего на свете.

- Seriously?

- А как же. Замечательный человек. Кристальная личность.

- Спасибо, милый Макс. А то ведь его все ругают... И мама, и... все.

Мне это так тяжело.

- Лидочка! Дитя мое... Вы простите, что я вас так называю, но... никому не верьте! Про Мастакова говорят много нехорошего - все это ложь! Преотчаянная, зловонная ложь. Я знаю Мастакова, как никто! Редкая личность! Душа изумительной чистоты!..

- Спасибо вам... Я никогда... не забуду...

- Ну, чего там! Стоит ли. Больше всего меня возмущает, когда говорят: "Мастаков - мот! Мастаков швыряет деньги куда попало!" Это Мастаков-то мот? Да он, прежде чем извозчика нанять, полчаса с ним торгуется! Душу из него вымотает. От извозчика пар идет, от лошади пар идет, и от пролетки пар идет. А они говорят - мот!.. Раза три отойдет от извозчика, опять вернется, и все это из-за гривенника. Ха-ха! Хотел бы я быть таким мотом!

- Да разве он такой? А со мной когда едет - никогда не торгуется.

- Ну что вы... Кто же осмелится при даме торговаться?! Зато потом, после катанья с вами, придет, бывало, ко мне - и уж он плачет, и уж он стонет, что извозчику целый лишний полтинник передал. Жалко смотреть, как убивается. Я его ведь люблю больше брата. Замечательный человек. Замечательный!

- А я и не думала, что он такой... экономный.

- Он-то? Вы еще не знаете эту кристальную душу! Твоего, говорит, мне не нужно, но уж ничего и своего, говорит, не упусти. Ему горничная каждый вечер счет расходов подает, так он копеечки не упустит. "Как, говорит, ты спички поставила 25 копеек пачка, а на прошлой неделе они 23 стоили? Куда две копейки дела, признавайся!" Право, иногда, глядя на него, просто зависть берет.

- Однако он мне несколько раз подносил цветы... Вон и сейчас стоит букет - белые розы и мимоза - чудесное сочетание.

- Знаю! Говорил он мне. Розы четыре двадцать, мимоза два сорок. В разных магазинах покупал.

- Почему же в разных?

- В другом магазине мимоза на четвертак дешевле. Да еще выторговал пятнадцать копеек. О, это настоящий американец! Воротнички у него, например, гуттаперчевые. Каждый вечер резинкой чистит. Стану я, говорит, прачек обогащать. И верно - с какой стати? Иногда я гляжу на него и думаю: "Вот это будет муж, вот это отец семейства!" Да... счастлива будет та девушка, которая...

- Постойте... Но ведь он получает большое жалованье! Зачем же ему...

- Что? Быть таким экономным? А вы думаете, пока он вас не полюбил, ему женщины мало стоили?

- Ка-ак? Неужели он платил женщинам? Какая гадость!

- Ничего не гадость. Человек он молодой, сердце не камень, а женщины вообще, Лидочка (простите, что я называю вас Лидочкой), - страшные дуры.

- Ну уж и дуры.

- Дуры! - стукнул кулаком по столу разгорячившийся Макс. -

Спрашивается: чем им Мастаков не мужчина? Так нет! Всякая нос воротит. "Он, говорит она, неопрятный. У него всегда руки грязные". Так что ж, что грязные? Велика важность! Зато душа хорошая. Зато человек кристальный! Эта вот, например, извольте знать?.. Марья Кондратьевна Ноздрякова - извольте знать?

- Нет, не знаю.

- Я тоже, положим, не знаю. Но это не важно. Так вот, она вдруг заявляет: "Никогда я больше не поцелую вашего Мастакова - противно". - "Это почему же-с, скажите на милость, противно? Кристальная, чудесная душа, а вы говорите - противно?.." - "Да я, говорит, сижу вчера около него, а у него по воротнику насекомое ползет..." - "Сударыня! Да ведь это случай! Может, как-нибудь нечаянно с кровати заползло", - и слышать не хочет глупая баба! "У него, говорит, и шея грязная". Тоже, подумаешь, несчастье, катастрофа! Вот, говорю, уговорю его сходить в баню, помыться, и все будет в порядке! "Нет, говорит! И за сто рублей его не поцелую". За сто не поцелуешь, а за двести небось поцелуешь. Все они хороши, женщины ваши.

- Макс... Все-таки это неприятно, то, что вы говорите...

- Почему? А по-моему, у Мастакова ярко выраженная индивидуальность... Протест какой-то красивый. Не хочу чистить ногти, не хочу быть как все. Анархист. В этом есть какой-то благородный протест.

- А я не замечала, чтобы у него были ногти грязные...

- Обкусывает. Все великие люди обкусывали ногти. Наполеон там, Спиноза, что ли. Я в календаре читал. Макс, взволнованный, помолчал.

- Нет, Мастакова я люблю и глотку за него всякому готов перервать. Вы знаете, такого мужества, такого терпеливого перенесения страданий я не встречал. Настоящий Муций Сцевола, который руку на сковороде изжарил.

- Страдание? Разве Мастаков страдает?!

- Да. Мозоли. Я ему несколько раз говорил: почему не срежешь? "Бог с ними, не хочу возиться". Чудесная детская хрустальная душа...

III

Дверь скрипнула. Евдокия Сергеевна заглянула в комнату и сказала с затаенным вздохом:

- Мастаков твой звонит. Тебя к телефону просит...

- Почему это мой? - нервно повернулась в кресле Лидочка. - Почему вы все мне его навязываете?! Скажите, что не могу подойти... Что газеты читаю. Пусть позвонит послезавтра... или в среду - не суть важно.

- Лидочка, - укоризненно сказал Двуутробников, - не будьте так с ним жестоки. Зачем обижать этого чудесного человека, эту большую, ароматную душу!

- Отстаньте вы все от меня! - закричала Лидочка, падая лицом на диванную подушку. - Никого мне, ничего мне не нужно!!! Двуутробников укоризненно и сокрушенно покачал головой. Вышел вслед за Евдокией Сергеевной и, деликатно взяв ее под руку, шепнул:

- Видал-миндал?

- Послушайте... Да ведь вы чудо сделали!! Да ведь я теперь век за вас молиться буду.

- Мамаша! Сокровище мое. Я самый обыкновенный земной человек. Мне небесного не нужно. Зачем молиться? Завтра срок моему векселю на полтораста рублей. А у меня всего восемьдесят в кармане. Если вы...

- Да Господи! Да хоть все полтораста!.. И, подумав с минуту, сказал Двуутробников снисходительно:

- Ну ладно, что уж с вами делать. Полтораста так полтораста. Давайте!

"Резная работа"

Недавно один петроградский профессор - забыл после операции в прямой кишке больного В. трубку (дренаж) в пол-аршина длиной. В операционной кипит работа.

- Зашивайте, - командует профессор. - А где ланцет? Только сейчас тут был.

- Не знаю. Нет ли под столом?

- Нет. Послушайте, не остался ли он там?..

- Где?

- Да там же. Где всегда.

- Ну где же?!!

- Да в полости желудка.

- Здравствуйтесь! Больного уже зашили, так он тогда только вспомнил. О чем вы раньше думали?!

- Придется расшить.

- Только нам и дела, что зашивать да расшивать. Впереди еще шесть операций. Несите его.

- А ланцет-то?

- Бог с ним, новый купим. Он недорогой.

- Я не к тому. Я к тому, что в желудке остался.

- Рассосется. Следующего! Первый раз оперируетесь, больная?

- Нет, господин профессор, я раньше у Дубинина оперировалась.

- Ага!.. Ложитесь. Накладывайте ей маску. Считайте! Ну? Держите тут, растягивайте. Что за странность! Прощупайте-ка, коллега... Странное затвердение. А ну-ка... Ну вот! Так я и думал... Пенсне! Оригинал этот Дубинин. отошлите ему, скажите - нашлось.

- А жаль, что не ланцет. Мы бы им вместо пропавшего воспользовались... Зашивайте!

- А где марля? Я катушки что-то не вижу. Куда она закатилась?

- Куда, куда! Старая история. И что это у вас за мания - оставлять у больных внутри всякую дрянь.

- Хорошая дрянь! Марля, батенька, денег стоит.

- Расшивать?

- Ну, из-за катушки... стоит ли?

- А к тому, что марля... в животе...

- Рассосется. Я один раз губку в желудок зашил, и то ничего.

- Рассосалась?

- Нет, но оперированный горчайшим пьяницей сделался.
- Да что вы!
- Натурально! Выпивал он потом, представьте, целую бутылку водки - и ничего. Все губка впитывала. Но как только живот поясом потуже стянет - так сразу как сапожник пьян.
- Чудеса!
- Чудесного ничего. Научный факт. В гостях, где выпивка была бесплатная, он выпивал невероятное количество водки и вина и уходил домой совершенно трезвый. Потом, дома уже - потрет руки, скажет: "Ну-ка, рюмочку выпить, что ли!" И даванет себя кулаком в живот. Рюмку из губки выдавит, закусит огурцом, походит - опять: "Ну-ка, говорит, давнем еще рюмочку!.." Через час - лыка не вяжет. Так пил по мере надобности... Совсем как верблюд в пустыне.
- Любопытная исто... Что вы делаете? Что вы только делаете, поглядите!!!.. Ведь ему гланды нужно вырезать, а вы живот разрезали!!
- Гм... да... Заговорился. Ну все равно, раз разрезал - поглядим: нет ли там чего?..
- Нет?
- Ничего нет. Странно.
- Рассосалось.
- Зашивайте. Ффу! Устал. Закурить, что ли... Где мой портсигар?
- Да тут он был; недавно только держали. Куда он закатился?
- Неужто портсигар зашили?
- Оказия. Что же теперь делать?
- Что, что! Курить смерть как хочется. И потом, вещь серебряная.
Расшивайте скорей, пока не рассосался!
- Есть?
- Нет. Пусто, как в кармане банкрота.
- Значит, у кого-нибудь другого зашили. Все оперированные здесь?
- Неужели всех и распаривать?
- Много ли их там - шесть человек! Порите.
- Всех перепороли?
- Всех.
- Странно. А вот тот молодой человек, что в двери выглядывает? Этого, кажется, пропустили. Эй, вы - как вас? - ложитесь!
- Да я...
- Нечего там - не "да я"... Ложитесь. Маску ему. Читайте.
- Да я...
- Нажимайте маску крепче. Так. Где нож? Спасибо.
- Ну? Есть?
- Нет. Ума не приложу, куда портсигар закатился. Ну, очнулись, молодой человек?
- Да я...
- Что "вы", что "вы"?! Говорите скорей, некогда...
- Да я не за операцией пришел, а от вашей супруги... Со счетом из башмачного магазина.
- Что же вы лезете сюда? Только время отнимаете! Где же счет? Ложитесь, мы его сейчас извлечем.
- Что вы! Он у меня в кармане...
- Разрезывайте карман! Накладывайте на брюки маску...
- Господин профессор, опомнитесь!.. У меня счет и так вынимается из кармана. Вот, извольте.
- Ага! Извлекли? Зашивайте ему карман.
- Да я...
- Следующий! - бодро кричит профессор. - Очистите стол. Это что тут такое валяется?
- Где?
- Да вот тут, на столе.
- Гм! Чей-то сальник. Откуда он?

- Не знаю.
- Сергей Викторович, не ваш?
- Да почему же мой?! - огрызается ассистент. - Не меня же вы оперировали. Наверное, того больного, у которого камни извлекали.
- Ах ты ж, господи, - вот наказание! Верните его, скажите, пусть захватит.
- Молодой человек! Сальничек обронили...
- Это разве мой?
- Больше ничей, как ваш.
- Так что же я с ним буду делать? Не в руках же его носить... Вы вставьте его обратно!
- Эх, вот возня с этим народом! Ну, ложитесь. Вы уже поролись?
- Нет, я только зашивался.
- Я у вас не забыл своего портсигара?
- Ей-богу, в глаза не видал... Зачем мне...
- Ну, что-то у вас глаза подозрительно бегают. Ложитесь! Маску! Считайте! Нажимайте! Растягивайте!
- Есть?
- Что-то такое нащупывается... Какое-то инородное тело. Дайте нож!
- Ну?
- Пойдите... Что это? Нет, это не портсигар.
- Бумажка какая-то... Странно... Э, черт! Видите?
- Ломбардная квитанция!
- Ну конечно: "Подержанный серебряный портсигар с золотыми инициалами М. К." Мой! Вот он куда закатился! Вот тебе и закатился...
- Хе-хе, вот тебе и рассосался.
- Обратистый молодой человек!
- Одессит, не иначе.
- Вставьте ему его паршивый сальник и гоните вон. Больных больше нет?
- Нет.
- Сюртук мне! Ж-живо! Подайте сюртук.
- Ваш подать?
- А то чей же?
- Тут нет никакого сюртука.
- Чепуха! Тут же был.
- Нет!.. Неужели?..
- Черт возьми, какой неудачный день! Опять сызнова всех больных пороть придется. Скорее, пока не рассосался! Где фельдшерица?
- Нет ее...
- Только что была тут!
- Не зашили ли давеча ее в одессита?!
- Неужели рассосалась?..
- Ну и денек!..

"Автобиография"

Еще за пятнадцать минут до моего рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

- Держу пари на золотой, что это мальчишка!

"Старая лисица! - подумал я, внутренне усмехнувшись, - ты играешь наверняка".

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование.

Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым делом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе - и мы вышли на улицу.

- Куда это нас черти несут? - спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

- Тебе надо учиться.

- Очень нужно! Не хочу учиться.

- Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

- Я болен.

- Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый важный:

- Глаза.

- Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

- Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

- Ничего, - ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: "...хорошего в ученье".

Так я и не занимался науками.

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость - добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и - пожаров, испепеливших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и школой, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и результат схватки - вывихнутый палец - несколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так - на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей - совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, отец, с сожалением распроставшийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

- Надо тебе служить.

- Да я не умею, - возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

- Вздор! - возразил отец. - Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

- Посмотри на Сережу, - говорила печально мать. - Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится

свободно, на гитаре играет, поет... А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался "держаться свободнее", шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!

- Сережа служит, а ты еще не служишь... - упрекнул меня отец.

- Сережа, может быть, дома лягушек ест, - возразил я, подумав. - Так и мне прикажете?

- Прикажу, если понадобится! - гаркнул отец, стуча кулаком по столу. - Черрт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

"Это, наверное, и есть главный агент", - подумал я.

- Здравствуйте! - сказал я, крепко пожимая ему руку. - Как делишки?

- Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

- Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.

- Здравствуйте, - сказал я. - Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

- Ничего, - сказал молодой господин. - Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

- Так-то вы, дьявольский дармоед, заготавливаете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

"Дурак я, - думал я про себя. - Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник - так начальник! Сразу уж видно!"

В это время в передней послышалась возня.

- Посмотрите, кто там? - попросил меня главный агент.

Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

- Какой-то плюгавый старикашка стягивает пальто.

Плюгавый старикашка вошел и закричал:

- Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того "лодырем", предупредительно сообщил мне на ухо:

- Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей, ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать - это моя родина) на какие-то

каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время - ниже.

И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком, и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи большей частью беглыми с каторги, паспортов они не имели и отсутствие этой неременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе - целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой - ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.

- Что это такое? - изумился я...

- А шахтеры, - улыбнулся сочувственно возница. - Горилку куповали у селе. Для Божьего праздничку.

- Ну?

- Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком с пальчиком на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения - бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина - был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить как бог на душу положит.

Пили, играли в карты, ругались пружестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и

меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах - месте, которое восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывая работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрязгах.

Литературная моя деятельность была начата в 19041 году, и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в "Южный край". И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и подхватив меня, закрутил меня, как щепку.

Я стал редактировать журнал "Штык", имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу... Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег...

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!

Тогда он, обидевшись, сказал:

- Один из нас должен уехать из Харькова!

- Ваше превосходительство! - возразил я. - Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить три номера журнала "Меч", который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

В Петроград я приехал как раз на Новый год.

Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу. Помолчу!

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я, - могу дать честное слово, - увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город... Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.

И вот - начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом "Сатирикон", и

до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на полгода 4 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего "Сатирикона" (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности, я умолкаю.

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской делегации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение...

"Тайна"

I

Он уверял меня, что с детства у него были поэтические наклонности.

- Понимаешь - я люблю все красивое!

- Неужели? С чего же это ты так? - спросил я, улыбаясь.

- Не знаю. У меня, вероятно, такая душа: тянуться ко всему красивому...

- В таком случае я подарю тебе книжку моих стихов!!

Он не испугался, а сказал просто:

- Спасибо.

Я спросил как можно более задушевно:

- Ты любишь ручеек в лесу? Когда он журчит? Или овечку, пасущуюся на травке? Или розовое облачко высоко-высоко... Так, саженой в шестьдесят высоты?

Глядя задумчивыми, широко раскрытыми глазами куда-то вдаль, он прошептал:

- Люблю до боли в сердце.

- Вот видишь, какой ты молодец. А еще что ты любишь?

- Я люблю закат на реке, когда издали доносится тихое пение... Цветы, окропленные первой чистой слезой холодной росы... Люблю красивых, поэтичных женщин и люблю тайну, которая всегда красива.

- Любишь тайну? Почему же ты мне не сказал этого раньше? Я бы сообщил тебе парочку-другую тайн... Знаешь ли ты, например, что между женой нашего швейцара и приказчиком молочной лавки что-то есть? Я сам вчера слышал, как он делал ей заманчивые предложения...

Он болезненно поморщился.

- Друг! Ты меня не понял. Это слишком вульгарная, грубая тайна. Я люблю тайну тонкую, нежную, неуловимую. Ты знаешь, что я сделал сегодня?

- Ты сделал что-нибудь красивое, поэтичное, - уверенно сказал я.

- Вот именно. Сейчас мы едем к Лидии Платоновне. И знаешь, что я сделал?

- Что-нибудь красивое, поэтичное?

- Да! Я купил букет роскошных белых роз и отослал его Лидии Платоновне инкогнито, без записки и карточки. Это маленькая грациозная тайна. Я люблю все грациозное. Цветы, окропленные первой чистой слезой холодной росы... И неизвестно от кого... это тайна.

- Так вот почему ты продал свой турецкий диван и синие брюки!

- Друг, - страдальчески сказал он. - Не будем говорить об этом.

Цветы... Из нездешнего мира... Откуда они? Из чистого горного воздуха? Кто их прислал? Бог? Дьявол?

Его глаза, устремленные к небу, сияли как звезды.

- Да ведь ты не вытерпишь, проболтаешься? - едко сказал я.

- Друг! Клянусь, что я буду равнодушен и молчалив... Ты понимаешь - она никогда не узнает, от кого эти цветы... Это маленькое и ужасное слово - никогда. Never-more!.

Когда мы сходили с извозчика, я подумал, что если бы этот человек писал стихи, они могли бы быть не более глупы, чем мои.

II

Мы вошли в гостиную, и хозяйка дома встретила нас такой бурной радостью и водопадом благодарностей, что я сначала даже отступил за Васю Мимозова.

- Василий Валентиныч! - воскликнула прелестная хозяйка. -

Признавайтесь... Это вы прислали эту прелесть?

Вася Мимозов изумленно отступил и сказал, широко открыв глаза:

- Прелесть? Какую? Я вас не понимаю.

- Полноте, полноте! Кто же другой мог придумать эту очаровательную вещь.

- О чем вы говорите?

- Не притворяйтесь. Я говорю об этом роскошном букете!

Взгляд его обратился по направлению руки хозяйки, и он закричал так, как будто первый раз в жизни видел букет цветов:

- Какая роскошь! Кто это вам преподнес?

Хозяйка удивилась:

- Неужели это не вы?

Без всякого колебания Вася Мимозов повернул к ней свое грустное лицо и твердо сказал:

- Конечно, не я. Даю вам честное слово.

Тут только она заметила меня и радушно приветствовала:

- Здравствуйте! Это уж не вы ли сделали мне такой царский подарок?

Я отвернулся и с деланным смущением возразил:

- Что вы, что вы!

Она подозрительно взглянула на меня.

- А почему же ваши глазки не смотрят прямо? Признавайтесь, шалун!

Я глупо захохотал.

- Да почему же вы думаете, что именно я?

- Вы сразу смутились, когда я спросила.

Вася Мимозов стоял за спиной хозяйки и делал мне умоляющие знаки. Я тихонько хихикал, смущенно крутя пуговицу на жилете:

- Ах, оставьте.

- Ну конечно же вы! Зачем вы, право, так тратитесь?!

Избегая взгляда Мимозова, я махнул рукой и беззаботно ответил:

- Стоит ли об этом говорить!

Она схватила меня за руку.

- Значит, вы?

Вася Мимозов с искаженным страхом лицом приблизился и хрипло воскликнул:

- Это не он!

Хозяйка недоумевающе посмотрела на нас.

- Так, значит, это вы?

Лицо моего приятеля сделалось ареной борьбы самых разнообразных страстей: от низких до красивых и возвышенных.

Возвышенные страсти победили.

- Нет, не я, - сказал он, отступая.

- Больше никто не мог мне прислать. Если не вы - значит, он. Зачем вы тратите такую уйму денег?

Я поболтал рукой и застенчиво сказал:

- Оставьте! Стоит ли говорить о такой прозе. Деньги, деньги... Что такое, в сущности, деньги? Они хороши постольку, поскольку на них можно купить цветов, окропленных первой чистой слезой холодной росы. Не правда ли, Вася?

- Как вы красиво говорите, - прошептала хозяйка, смотря на меня затуманенными глазами. - Этих цветов я никогда не забуду. Спасибо, спасибо вам!

- Пустяки! - сказал я. - Вы прелестнее всяких цветов.

- Мерсі. Все-таки рублей двадцать заплатили?

- Шестнадцать, - сказал я наобум.

Из дальнего угла гостиной, где сидел мрачный Мимозов, донесся тихий стон:

- Восемнадцать с полтиной!

- Что? - обернулась к нему хозяйка.

- Он просит разрешения закурить, - сказал я. - Кури, Вася, Лидия

Платоновна переносит дым.

Мысли хозяйки все время обращались к букету.

- Я долго добивалась от принесшего его: от кого этот букет? Но он молчал.

- Мальчишка, очевидно, дрессированный, - одобрительно сказал я.

- Мальчишка! Но он старик!

- Неужели? Лицо у него было такое молодежавое.

- Он весь в морщинах!

- Несчастный! Жизнь его, очевидно, не красна. Ненормальное положение приказчиков, десятичасовой труд... Об этом еще писали. Впрочем, сегодняшний заработок поправит его делишки.

Мимозов вскочил и приблизился к нам. Я думал, что он ударит меня, но он сурово сказал:

- Едем! Нам пора.

При прощании хозяйка удержала мою руку в своей и прошептала:

- Ведь вы навестите меня? Я буду так рада! Мерсі за букет.

Приезжайте одни.

Мимозов это слышал.

III

Возвращаясь домой, мы долго молчали. Потом я спросил задушевым тоном:

- А любишь ты детскую елку, когда колокола звонят радостным благовестом и румяные детские личики резвятся около дерева тихой радости и умиления? Вероятно, тебе дорога летняя лужайка, освещенная золотым солнцем, которое ласково греет травку и птичек... Или первый поцелуй теплых губок любимой женщины...

Падая с пролетки и уже лежа на мостовой, я успел ему крикнуть:

- Да здравствует тайна!

"Дружба"

Посвящается Марусе Р.

Уезжая, Кошкин сказал жене:

- Я, Мурочка, вернусь завтра. Так как ты сегодня собралась в театр, то сопровождать тебя будет вместо меня мой друг Бултырин. Он, правда, недалеко и человек по характеру тяжелый, но привязан ко мне и к тебе будет внимателен. Когда вернетесь домой, ты можешь положить его в моем кабинете, чтобы тебе не было страшно.

- Да мне и так не будет страшно, - возразила жена.

- Ну, все-таки! Мужчина в доме.

А когда приехал Бултырин, Кошкин отвел его в угол и сказал:

- Друг Бултырин! Оставляю жену на тебя. Ты уж, пожалуйста, присмотри за ней. Сказать тебе откровенно, мне не больно нравятся разные молодые негодяи, которые, как только отвернешься, сейчас же вырастают подле нее. С тобой же я могу быть уверен, что они не рискнут шептать ей разные идиотские слова.

- Кошкин! - сказал сурово, с непреклонным видом Бултырин. - Положись на меня. Как ты знаешь, моя семейная жизнь сложилась несчастливо: жена моя таки удрала с каким-то презренным молокососом! Поэтому я уже научен горьким опытом и ни на какую удочку не поддамся.

Он бросил мрачный взгляд на сидевшую у рояля Мурочку и молча многообещающе пожал руку Кошкина.

Кошкин уехал.

Одевшись, Мурочка стояла у трюмо, прикалывала шляпу и спрашивала следившего за ней беспокойным взглядом Бултырина:

- О чем вы шептались с Жоржем?
- Так, вообще. Он поручил мне быть все время около вас.
- Зачем? - удивилась Мурочка.

Бултырин рассеянно засунул в рот нож для разрезания книг и, призадумавшись, ответил:

- Я полагаю, он боится, нет ли у вас любовника?
- Послушайте! - вспыхнула Мурочка. - Если вы не можете быть элементарно вежливым, я вас сейчас же прогоню от себя и в театр поеду одна.

"Да! - подумал Бултырин. - Хитра ты больно... Меня прогонишь, а сама к любовнику побежишь. Знаем мы вас". А вслух сказал:

- Это же он говорил, а не я. Я не знаю, может быть, у вас и любовника-то никакого нет.

Этими словами он хотел польстить Мурочкиной добродетели, но она надулась и на извозчика села злая, молчаливая.

Бултырин был совершеннейший медведь: в экипаж вскочил первый, занявши три четверти места, а когда по дороге им встретился Мурочкин знакомый, приветливо с нею раскланявшись, исполнительный Бултырин потихоньку обернулся ему вслед и погрозил кулаком. Изумленный господин увидел это и долго стоял на месте, недоумевающе следя за странной парой.

Когда они вошли в вестибюль театра, Бултырин снял с Мурочки сак, огляделся вокруг и мрачно сказал, ухвативши ее за руку:

- Ну, идем, что ли!
- Пойдите... куда вы меня тащите? Оставьте мою руку. Кто же хватает за кисть руки?!

- А как надо?

- Возьмите вот так... под руку... И пожалуйста, оставьте свои нелепые выходки. А то я сейчас же уйду от вас.

Бултырин отчаянным жестом уцепился за Мурочкину руку и подумал: "Врешь! Не сбежишь, подлая. А ругаться ты можешь, сколько тебе угодно".

Когда они сели на места, Мурочка взяла бинокль и стала рассматривать сидящих в ложах.

Хитрый Бултырин попросил у нее на минутку бинокль и, сделав вид, что рассматривает занавес, потихоньку отвинтил какой-то винтик в передней части бинокля, после чего хладнокровно передал его Мурочке.

"Посмотри-ка теперь!" - сурово усмехнулся он про себя.

Мурочка долго вертела бинокль, сдвигала его, раздвигала и потом, огорченная, сказала:

- Не понимаю! Только сейчас было хорошо, а теперь ни туда ни сюда.

- Разве теперь мастера пошли? Жулики! - отвечал Бултырин. - Им бы только деньги брать. Возьмут да вместо бинокля кофейную мельницу подсунут! Ей-богу!

В антракте Бултырину захотелось покурить.

"Оставить ее тут рискованно, - размышлял Бултырин, с ненавистью поглядывая на склоненную Мурочкину голову. - В курилку за собой тащить неудобно... Хорошо бы запереть ее в какую-нибудь пустую ложу, а самому пойти выкурить папиросу... Да не пойдет. Навязалась ты на мою шею! Разве усадить ее в фойе на виду, а самому в уголку покурить, чтоб никто не видел?"

Он встал.

- Пойдем!

- Куда? Я здесь посижу.

- Нельзя, нельзя! Надо идти.

- Да отстаньте вы от меня! Идите себе, куда хотите.

- Нет-с, я без вас не пойду...

- Пойдете! - злорадно сказала Мурочка. - Вот возьму и не сдвинусь с места!

Бултырин задумался.

- Сдвинетесь! А то скандал сделаю! Думаете, не сделаю? Ей-богу! Возьму да крикну, что поймал вашу руку в то время, когда вы за моим бумажником в карман полезли, или скажу, что вы моя беглая жена! Ага! Пока разберут, - вы

скандалу не оберетесь. Мурочка с исковерканным от злости лицом встала.

- Какой же вы... негодяй! А этому идиоту Жоржу я завтра глаза выцарапаю. Пойдемте!

"Ты там себе ругайся, милая, сколько хочешь... - подумал торжествующий Бултырин. - Я ведь знаю, как обращаться с женщинами".

Но моментально веселое выражение сбежало с лица его. К ним направлялся молодой человек в смокинге и, весело махая программой, приветливо улыбался Мурочке.

- А! Марья Констант...

- Виноват, молодой человек! - заслонил Мурочку Бултырин. - Вы бы стыдились в таком виде подходить к замужней даме. Человек еле на ногах стоит, а позволяет себе...

- Слушайте! Вы с ума сошли?!

- Проходи, проходи! Много вас тут... Смотрите на него, лыка не вяжет.

- Прежде всего - вы нахал! Я вас не знаю и хотел только поздороваться с госпожой Кошкиной...

Недоумевающая публика стала останавливаться около них. Заметив это, Мурочка сделала молодому человеку умоляющий жест и прошептала:

- Ради Бога! До завтра... Заезжайте к мужу. Он объяснит; не подымайте сейчас истории.

Лицо Мурочки было красно, и на глазах блестели слезы. Пораженный молодой человек, пожав плечами, поклонился ей и отступил, а Мурочка послала по направлению публики чарующую улыбку, взяла Бултырина под руку и ласково сказала:

- Проводите меня до уборной.

- Зачем?

- Какое тебе дело, подлец, - глядя на публику с ласковой улыбкой, прошептала Мурочка. - С каким бы удовольствием выщипала я по волоску твою бороду... Толстое животное!

- Ладно, ругайтесь! Пожалуй, пойдем в уборную... Только я видел взгляды, которыми вы обменялись с молодым человеком. Понимаем-с! В уборную я вас одну не пущу.

- Вы форменный идиот, - простонала тихонько Мурочка, - ведь уборная женская!

- Да... там, может, другой ход есть...

- Да сак-то мой и шляпа внизу, гнусный вы кретин?!

"Удерет она без сака или нет? - подумал Бултырин. - Пожалуй, не удерет".

- Ну, идите! Я все равно у дверей сторожить буду.

Когда Мурочка вышла из уборной, она наткнулась на Бултырина, который подозрительно заглядывал в двери и о чем-то шептался с горничной.

- Едем домой! - решительно сказала Мурочка.

"Ага! Не выгорело с любовником", - злорадно усмехнулся про себя Бултырин.

- Пожалуй, едем!

Он уцепился за Мурочкину руку, свел Мурочку вниз, одел и, показав язык какому-то господину, смотревшему, не сводя глаз, на красивую Мурочку, сел с нею на извозчика.

- Жаль, что пьесы не досмотрели, - любезно обратился он к ней, когда они поехали, - забавная, кажется, пьеска...

Мурочка с ненавистью взглянула на его простодушное лицо и сказала:

- Подлец, подлец! Дурак проклятый! Тупица!

- Чего вы ругаетесь? - удивился Бултырин.

- Вот же тебе, кретин: когда лягу спать, нарочно отворю окно в спальне и впущу любовника... ха-ха-ха!

- Нет, вы этого не сделаете, - хладнокровно сказал Бултырин.

- Почему это, позвольте спросить?

- А я возьму кресло, сяду в спальне и буду сторожить...

- Вы с ума сошли! Вы так глупы, что даже не понимаете шуток!

- Ладно, ладно. Так и сделаю. А что?! Проговорились, да теперь на попятный? Ей-богу, сяду в спальне. Даром я, что ли, дал слово?!
- Посмейте! Я позову дворников, они вас в участок отправят.
- А я скандал сделаю! Скажу, что я ваш любовник и вы меня приревновали к вашей горничной.
- Подлец!
- Пусть.

Свеча догорала, слабо освещая спальню... На кровати спала в верхней юбке и чулках Мурочка, покрытая простыней. Очевидно, она много плакала, так как тихонько во сне всхлипывала и глаза ее были красны.

В углу, в мягком большом кресле сидел полусонный Бултырин и, грызя машинально вынутый из кармана винтик от бинокля, рассеянно поглядывал на спящую.

"Яд"

ИРИНА СЕРГЕЕВНА РЯЗАНЦЕВА

Я сидел в уборной моей знакомой Рязанцевой и смотрел, как она гримировалась. Ее белые гибкие руки быстро хватали неизвестные мне щеточки, кисточки, лапки, карандаши, прикасались ими к черным прищуренным глазам, от лица порхали к прическе, поправляли какую-то ленточку на груди, серьгу в ухе, и мне казалось, что эти руки преданы самому странному и удивительному проклятию: всегда быть в движении.

"Милые руки, - с умилением подумал я. - Милые, дорогие мне глаза!" И неожиданно я сказал вслух:

- Ирина Сергеевна, а ведь я вас люблю!

Она издала слабый крик, всплеснула руками, обернулась ко мне, и через секунду я держал ее в своих крепких объятиях.

- Наконец-то! - сказала она, слабо смеясь. - Ведь я измучилась вся, ожидая этих слов. Зачем ты меня мучил?

- Молчи! - сказал я.

Усадил ее на колени и нежно шепнул ей на ухо:

- Ты мне сейчас напомнила, дорогая, ту нежную, хрупкую девушку из пьесы Горданова "Хризантемы", которая - помнишь? - тоже так, со слабо сорвавшимся криком "наконец-то" бросается в объятия помещика Лаэртова. Ты такая же нежная, хрупкая и так же крикнула своим милым сорвавшимся голоском... О, как я люблю тебя.

На другой день Ирина переехала ко мне, и мы, презирая светскую условность, стали жить вместе.

Жизнь наша была красива и безоблачна.

Случались небольшие ссоры, но они возникали по пустяковым поводам и скоро гасли за отсутствием горючего материала.

Первая ссора произошла из-за того, что однажды, когда я целовал

Ирину, мое внимание привлекло то обстоятельство, что Ирина смотрела в это время в зеркало.

Я отодвинул ее от себя и, обижаясь, спросил:

- Зачем ты смотрела в зеркало? Разве в такую минуту об этом думают?

- Видишь ли, - сконфуженно объяснила она, - ты немного неудачно обнял меня. Ты сейчас обвил руками не талию, а шею. А мужчины должны обнимать за талию.

- Как... должен? - изумился я. - Разве есть где-нибудь такое узаконенное правило, чтобы женщин обнимать только за талию? Странно! Если бы мне подвернулась талия, я обнял бы талию, а раз подвернулась шея, согласись сама...

- Да, такого правила, конечно, нет... но как-то странно, когда обвивают женскую шею.

Я обиделся и не разговаривал с Ириной часа два. Она первая пошла на примирение.

Подошла ко мне, обвила своими прекрасными руками мою шею (мужская шея -

узаконенный способ) и сказала, целуя меня в усы:

- Не дуйся, глупый! Я хочу сделать из тебя интересного, умного человека... И потом... (она застенчиво поежилась) я хотела бы, чтобы ты под моим благотворным влиянием завоевал бы себе самое высокое положение на поприще славы. Я хотела бы быть твоей вдохновительницей, больше того - хотела бы сама завоевать для тебя славу.

Она скоро ушла в театр, а я призадумался: каким образом она могла бы завоевать для меня славу? Разве что сама бы вместо меня писала рассказы, при условии, чтобы они у нее выходили лучше, чем у меня. Или что она понимала под словом "вдохновительница"? Должен ли я был всех героев своих произведений списывать с нее, или она должна была бы изредка просить меня: "Владимир, напиши-ка рассказ о собаке, которая укусила за ногу нашу кухарку. Володечка, не хочешь ли взять темой нашего комика, который совсем спился, и антрепренер прогоняет его".

И вдруг я неожиданно вспомнил. Недавно мне случилось видеть в театре пьесу "Без просвета", где героиня целует героя в усы и вдохновенно говорит: "Я хочу, чтобы ты под моим влиянием завоевал себе самое высокое положение на поприще славы. Я хочу быть твоей вдохновительницей".

- Странно, - сказал я сам себе.

А во рту у меня было такое ощущение, будто бы я раскусил пустой орех.

С этих пор я стал наблюдать Ирину. И чем больше наблюдал, тем больший ужас меня охватывал.

Ирины около меня не было. Изредка я видел страдающую Верочку из пьесы Лимонова "Туманные дали", изредка около меня болезненно, с безумным надрывом веселился трагический тип решившей отравиться куртизанки из драмы "Лучше поздно, чем никогда"... А Ирину я и не чувствовал.

Дарил я браслет Ирине, а меня за него ласкала гранд-кокет, обвивавшая мою шею узаконенным гранд-коклетским способом.

Возвращаясь поздно домой, я, полный раскаяния за опоздание, думал встретить плачущую, обиженную моим равнодушием Ирину, но в спальне находил, к своему изумлению, какую-то трагическую героиню, которая, заломив руки изящным движением (зеркало-то - ха-ха! - висело напротив), говорила тихо, дрожащим, предсмертным голосом:

- Я тебя не обвиняю... Никогда я не связывала, не насиловала свободы любимого мною человека... Но я вижу далеко, далеко... - Она устремила отуманенный взор в зеркало и вдруг неожиданно громким шепотом заявила: - Нет! Ближе... совсем близко я вижу выход: сладкую, рвущую все цепи, благодетельницу смерть...

- Замолчи! - нервно говорил я. - Кашалотов, "Погребенные заживо", второй акт, сцена Базаровского с Ольгой Петровной. Верно? Еще ты играла Ольгу Петровну, а Рафаэлов - Базаровского... Верно? Она болезненно улыбалась.

- Ты хочешь меня обидеть? Хорошо. Мучай меня, унижай, унижай сейчас, но об одном только молю тебя: когда я уйду с тем, кто позовет меня по-настоящему, - сохрани обо мне светлую, весеннюю память.

- Не светлую, - хладнокровно поправил я, стаскивая с ноги ботинок и расстегивая жилет, - а "лучезарную". Неужели ты забыла четвертый акт "Птиц небесных", седьмое явление?

Она молча, широко открытыми глазами смотрела на меня, что-то шептала страдальчески губами и, неожиданно со стоном обрушиваясь на постель, за-крывала подушкой голову.

А из-под подушки виднелся блестящий, красивый глаз, и он был обращен к зеркалу, а рука инстинктивно обдергивала конец одеяла.

Однажды, когда я после какой-то размолвки, напившись утреннего чая, встал и взялся за пальто, предполагая прогуляться, она обратила на меня глаза, полные слез, и сказала только одно тихое слово:

- Уходишь?

Сердце мое сжалось, и я хотел вернуться, чтоб упасть к ее ногам и примириться (все-таки я любил ее), но тотчас же спохватился и выругал себя

беспмятным идиотом и разиней.

- Слушай! - сказал я, укоризненно глядя на нее. - Прекратится ли когда-нибудь это безобразие?.. Вот ты сказала одно лишь слово - всего лишь одно маленькое словечко, и это не твое слово, и не ты его говоришь.

- А кто же его говорит? - испуганно прошептала она, инстинктивно оглядываясь.

- Это слово говорит графиня Добровольская ("Гнилой век", пьеса Абрашкина из великосветской жизни, в четырех актах, между вторым и третьим проходит полтора года). Та самая Добровольская, которую бросает негодяй князь Обдорский и которая бросает ему вслед одно только щемящее слово: "Уходишь?" Вот кто это говорит!

- Неужели? - прошептала сбита с толку Ирина, смотря на меня во все глаза.

- Да конечно же! Ты же сама еще и играешь графиню. Ну, милая! Ну, не сердись... Будем говорить откровенно... На сцене, - пойми ты это, - такая штука, может быть, и хороша, но зачем же такие штуки в нашей жизни? Милая, будем лучше сами собой. Ведь я люблю тебя. Но я хочу любить Ирину, а не какую-то выдуманную Абрашкиным графиню или слезливую Верочку, плод досугов какого-то Лимонова! Я говорю серьезно: будем сами собой!

На глазах ее стояли слезы. Она бросилась мне на шею и, плача, крикнула:

- Я люблю тебя! Ты опять вернулся!

Так как она в неожиданном порыве обняла меня под мышками (способ неприятный), я многое простил ей за это. Даже подозрительные слова: "Ты опять вернулся", - пропустил я мимо ушей.

Когда примирение состоялось, я с облегченным сердцем уехал по делам и вернулся только к обеду.

Ирина была неузнаваема.

Театральность ее пропала. Заслышав мои шаги в передней, она с пронзительным криком: "Володька пришел!" - выскочила ко мне, упала передо мной на колени, расхохоталась, а когда я, смеясь, нагнулся, чтобы поднять ее, то она поцеловала меня в темя и дернула за ухо (способы ласки диковинные и на сцене мною не замеченные).

А когда я за обедом спросил ее, не сердится ли она на меня за утренний разговор, она бросила в меня салфеткой, сделала мне своими очаровательными руками пребольшой нос и, подмигнув, сказала: "Молчи, старый, толстый дурачок!"

Хотя я не был ни старым, ни толстым, но мне это нравилось больше прежнего: "О свет моей жизни! О солнце, освещающее мой путь!" Вечером она уехала в театр, а я сел за рассказ. Не писалось.

Тянуло к ней, к этому большому, изломанному, но хорошему в душевных порывах ребенку.

Я оделся и поехал в театр. Шла новая комедия, которой я еще не видел. Называлась она "Воробушек".

Когда я сел в кресло, шел уже второй акт. На сцене сидела Ирина и что-то шила, а когда зазвенел за кулисами звонок и вошел толстый, красивый блондин, она вскочила, засмеялась, шаловливым движением бросилась перед ним на колени, потом поцеловала его в темя, дернула за ухо и радостно приветствовала:

- Здравствуй, старый, толстый дурачок!

Зрители смеялись. Все смеялись, кроме меня.

Теперь я счастливый человек.

Недавно, сидя в столовой, я услышал из кухни голос Ирины. Она с кем-то разговаривала. Сначала я лениво прислушивался, потом прислушивался внимательно, потом встал и прильнул к полуоткрытой двери.

И по щекам моим текли слезы, а на лице было написано блаженство, потому что я видел ее, настоящую Ирину, потому что я слышал голос подлинной, без надоевших театральных вывертов и штучек Ирины.

Она говорила кому-то, очевидно прачке:

- Это, по-вашему, панталоны? Дрянь это, а не панталоны. Разве так

стирают? А чулки? Откуда взялись, я вас спрашиваю, дырки на пятках? Что? Не умеете - не беритесь стирать. Я за кружево на сорочках платила по рубль двадцать за аршин, а вы мне ее попортили.

Я слушал эти слова, и они казались мне какой-то райской музыкой.

- Ирина, - шептал я, - настоящая Ирина.

А впрочем... Господа! Кто из вас хорошо знает драматическую литературу? Нет ли в какой-нибудь пьесе разговора барыни с прачкой?..

"Сухая Масленица"

I

Знаменитый писатель Иван Перезвонов задумал изменить своей жене. Жена его была хорошей доброй женщиной, очень любила своего знаменитого мужа, но это-то, в конце концов, ему и надоело.

Целый день Перезвонов был на глазах жены и репортеров... Репортеры подстерегали, когда жена куда-нибудь уходила, приходили к Перезвонову и начинали бесконечные расспросы. А жена улучала минуту, когда не было репортеров, целовала писателя в нос, уши и волосы и, замирая от любви, говорила:

- Ты не бережешь себя... Если ты не думаешь о себе и обо мне, то подумай о России, об искусстве и отечественной литературе.

Иван Перезвонов, вздыхая, садился в уголку и делал вид, что думает об отечественной литературе и о России. И было ему смертельно скучно.

В конце концов писатель сделался нервным, язвительным.

- Ты что-то бледный сегодня? - спрашивала жена, целуя мужа где-нибудь за ухом или в грудо-брюшную преграду.

- Да, - отстраняясь, говорил муж. - У меня индейская чума в легкой форме. И сотрясение мозга! И воспаление почек!!

- Милый! Ты шутишь, а мне больно... Не надо так... - умоляюще просила жена и целовала знаменитого писателя в ключицу или любовно прикладывалась к сонной артерии...

Иногда жена, широко раскрывая глаза, тихо говорила:

- Если ты мне когда-либо изменишь - я умру.

- Почему? - лениво спрашивал муж. - Лучше живи. Чего там.

- Нет, - шептала жена, смотря вдаль остановившимися глазами. - Умру.

- Господи! - мучился писатель Перезвонов. - Хотя бы она меня стулом по голове треснула или завела интригу с репортером каким-нибудь... Все-таки веселее!

Но стул никогда не поднимался над головой Перезвонова, а репортеры боялись жены и старались не попадаться ей на глаза.

II

Однажды была Масленица. Всюду веселились, повесничали на легкомысленных маскарадах, пили много вина и пускались в разные шумные авантюры...

А знаменитый писатель Иван Перезвонов сидел дома, ел домашние блины и слушал разговор жены, беседовавшей с солидными, положительными гостями.

- Ване нельзя много пить. Одну рюмочку, не больше. Мы теперь пишем большую повесть. Мерзавец этот Солунский!

- Почему? - спрашивали гости.

- Как же. Писал он рецензию о новой Ваниной книге и сказал, что он слишком схематизирует взаимоотношения героев. Ни стыда у людей, ни совести.

Когда гости ушли, писатель лежал на диване и читал газету. Не зная, чем выразить свое чувство к нему, жена подошла к дивану, стала на колени и, поцеловав писателя в предплечье, спросила:

- Что с тобой? Ты, кажется, хромаешь?

- Ничего, благодарю вас, - вздохнул писатель. - У меня только разжижение мозга и цереброспинальный менингит. Я пойду пройдусь...

- Как, - испугалась жена. - Ты хочешь пройтись? Но на тебя может наехать автомобиль или обидят злые люди.

- Не может этого быть, - возразил Перезвонов, - до сих пор меня обижали

только добрые люди.

И, твердо отклонив предложение жены проводить его, писатель Перезвонов вышел из дому.

Сладко вздохнул усталой от комнатного воздуха грудью и подумал: "Жена невыносима. Я молод и жажду впечатлений. Я изменю жене".

III

На углу двух улиц стоял писатель и жадными глазами глядел на оживленный людской муравейник.

Мимо Перезвонова прошла молодая, красивая дама, внимательно оглядела его и слегка улыбнулась одними глазами.

"Ой-ой, - подумал Перезвонов. - Этого так нельзя оставить... Не нужно забывать, что нынче Масленица - многое дозволено". Он повернул за дамой и, идя сзади, любовался ее вздрагивающими плечами и тонкой талией.

- Послушайте... - после некоторого молчания сказал он, изо всех сил стараясь взять тон залихватского ловеласа и уличного покорителя сердец. - Вам не страшно идти одной?

- Мне? - приостановилась дама, улыбаясь. - Нисколько. Вы, вероятно, хотите меня проводить?

- Да, - сказал писатель, придумывая фразу попошлее. - Надо, пока мы молоды, пользоваться жизнью.

- Как? Как вы сказали? - восторженно вскричала дама. - Пока молоды... пользоваться жизнью. О, какие это слова! Пойдемте ко мне!

- А что мы у вас будем делать? - напуская на лицо циничную улыбку, спросил знаменитый писатель.

- О, что мы будем делать!.. Я так счастлива. Я дам вам альбом - вы запишете те прекрасные слова, которыми вы обмолвились. Потом вы прочтете что-нибудь из своих произведений. У меня есть все ваши книги!

- Вы меня принимаете за кого-то другого, - делаясь угрюмым, сказал Перезвонов.

- Боже мой, милый Иван Алексеевич... Я прекрасно изучила на вечерах, где вы выступали на эстраде, ваше лицо, и знакомство с вами мне так приятно...

- Просто я маляр Авксентьев, - резко перебил ее Перезвонов. - Прощайте, милая бабенка. Меня в трактире ждут благоприятели. Дербалызнем там. Эх вы!!

IV

- Прах их побери, так называемых порядочных женщин. Я думаю, если бы она привела меня к себе, то усадила бы в покойное кресло и спросила - отчего я такой бледный, не заработался ли? Благоговейно поцеловала бы меня в височную кость, а завтра весь город узнал бы, что Перезвонов был у Перепетуи Ивановны... Черррт! Нет, Перезвонов... Ищи женщину не здесь, а где-нибудь в шантане, где публика совершенно беззаботна насчет литературы.

Он поехал в шантан. Разделся, как самый обыкновенный человек, сел за столик, как самый обыкновенный человек, и ему, как обыкновенному человеку, подали вина и закусок.

Мимо него проходила какая-то венгерка.

- Садитесь со мной, - сказал писатель. - Выпьем хорошенько и повеселимся.

- Хорошо, - согласилась венгерка. - Познакомимся, интересный мужчина. Я хочу рябчиков.

Через минуту ее отозвал распорядитель.

Когда она вернулась, писатель недовольно спросил:

- Какой это дурак отзывал вас?

- Это здесь компания сидит в углу. Они расспрашивали, зачем вы сюда приехали и о чем со мной говорили. Я сказала, что вы предложили мне "выпить и повеселиться". А они смеялись и потом говорят: "Эта Илька всегда напутает. Перезвонов не мог сказать так!"

- Черррт! - прошипел писатель. - Вот что Илька... Вы сидите - кушайте и пейте, а я расплачусь и уеду. Мне нужно.

- Да расплачиваться не надо, - сказала Илька. - За вас уже заплачено.

- Что за глупости?! Кто мог заплатить?

- Вон тот толстый еврей-банкир. Подзывал сейчас распорядителя и говорит: "За все, что потребует тот господин, - плачу я! Перезвонов не должен расплачиваться". Мне дал пятьдесят рублей, чтобы я ехала с вами. Просил ничего с вас не брать.

Она с суеверным ужасом посмотрела на Перезвонова и спросила:

- Вы, вероятно... переодетый пристав?..

Перезвонов вскочил, бросил на стол несколько трехрублевок и направился к выходу.

Сидящие за столиками посетители встали, обернулись к нему, и - гром аплодисментов прокатился по зале... Так публика выражала восторг и преклонение перед своим любимцем, знаменитым писателем. Бывшие в зале репортеры выхватили из карманов книжки и со слезами умиления стали заносить туда свои впечатления. А когда Перезвонов вышел в переднюю, он наткнулся на лакея, который служил ему. Около лакея толпилась публика, и он продавал по полтиннику за штуку окурки папирос, выкуренных Перезвоновым за столом. Торговля шла бойко.

V

Оставив позади себя восторженно гудящую публику и стремительных репортеров, Перезвонов слетел с лестницы, вскочил на извозчика и велел ему ехать в лавчонку, которая отдавала на прокат немудрые маскарадные костюмы...

Через полчаса на шумном маскарадном балу в паре с испанкой танцевал веселый турок, украшенный громадными наклеенными усами и горбатым носом.

Турок веселился вовсю - кричал, хлопал в ладоши, визжал, подпрыгивал и напропалую ухаживал за своей испанкой.

- Ходы сюда! - кричал он, выделывая ногами выкрутасы. - Целуй менэ, барышна, на морда.

- Ах, какой вы веселый кавалер, - говорила восхищенная испанка. - Я поеду с вами ужинать!..

- Очин прекрасно, - хохотал турок, семеня возле дамы. - Одын ужин

- и никаких Перезвонов!

Было два часа ночи.

Усталый, но довольный Перезвонов сидел в уютном ресторанном кабинете, на диване рядом с хохотушкой-испанкой и взапуск целовался с ней. Усы его и нос лежали тут же на столе, и испанка, шутя, пыталась надеть ему турецкий нос на голову и на подбородок.

Перезвонов хлопал себя по широким шароварам и пел, притоптывая:

Ой, не плачь, Маруся, - ты будешь моя!

Кончу мореходку, женюсь я на тебя...

Испанка потянулась к нему молодым теплым телом.

- Позвони человеку, милый, чтобы он дал кофе и больше не входил...

Хорошо?

Перезвонов потребовал кофе, отослал лакея и стал возиться с какими-то крючками на лифе испанки...

VI

В дверь осторожно постучались.

- Ну? - нетерпеливо крикнул Перезвонов. - Нельзя!

Дверь распахнулась, и из нее показалась странная процессия... Впереди всех шел маленький белый поваренок, неся на громадном блюде сдобный хлеб и серебряную солонку с солью. За поваренком следовал хозяин гостиницы, с бумажкой в руках, а сзади буфетчица, кассир и какие-то престарелые официанты.

Хозяин выступил вперед и, утирая слезы, сказал, читая по бумажке:

- "Мы счастливы выразить свой восторг и благодарность гордости нашей литературы, дорогому Ивану Алексеичу, за то, что он почтил наше скромное коммерческое учреждение своим драгоценным посещением, и просим его от души принять по старорусскому обычаю хлеб-соль, как память, что под нашим кровом он вкусил женскую любовь, это украшение нашего бытия"... В дверях показались репортеры.

VII

Вернувшись домой, Перезвонов застал жену в слезах.

- Чего ты?!

- Милый... Я так беспокоилась... Отчего ты такой бледный?.. Я думала - ушел... Там женщины разные!.. Масленица... Думаю, изменит мне...

- Где там! - махнув рукой, печально вздохнул знаменитый писатель.

- Где там!

"Магнит"

I

Первый раз в жизни я имел свой собственный телефон. Это радовало меня, как ребенка. Уходя утром из дому, я с напускной небрежностью сказал жене:

- Если мне будут звонить, - спроси кто и запиши номер.

Я прекрасно знал, что ни одна душа в мире, кроме монтера и телефонной станции, не имела представления о том, что я уже восемь часов имею свой собственный телефон, но бес гордости и хвастовства захватил меня в свои цепкие лапы, и я, одеваясь в передней, кроме жены, предупредил горничную и восьмилетнюю Китти, выбежавшую проводить меня:

- Если мне будут звонить, - спросите кто и запишите номер.

- Слушаю-с, барин!

- Хорошо, папа!

И я вышел с сознанием собственного достоинства и солидности, шагал по улицам так важно, что несколько бы не удивился, услышав сзади себя разговор прохожих:

- Смотрите, какой он важный!

- Да, у него такой дурацкий вид, как будто он только что обзавелся собственным телефоном.

II

Вернувшись домой, я был несказанно удивлен поведением горничной: она открыла дверь, отскочила от меня, убежала за вешалку и, выпучив глаза, стала оттуда манить меня пальцем.

- Что такое?

- Барин, барин, - шептала она, давась от смеха. - Подите-ка, что я вам скажу! Как бы только барыня не услышала...

Первой мыслью моей было, что она пьяна; второй - что я вскружил ей голову своей наружностью и она предлагает вступить с ней в преступную связь.

Я подошел ближе, строго спросив:

- Чего ты хочешь?

- Тш... барин. Сегодня к Вере Павловне не приезжайте ночью, потому ихний муж не едет в Москву.

Я растерянно посмотрел на загадочное, улыбающееся лицо горничной и тут же решил, что она по-прежнему равнодушна ко мне, но спиртные напитки лишили ее душевного равновесия и она говорит первое, что взбрело ей на ум.

Из детской вылетела Китти, с размаху бросилась ко мне на шею и заплакала.

- Что случилось? - обеспокоился я.

- Бедный папочка! Мне жалко, что ты будешь слепой... Папочка, лучше ты брось эту драную кошку, Бельскую.

- Какую... Бельс-ку-ю? - ахнул я, смотря ей прямо в заплаканные глаза.

- Да твою любовницу. Которая играет в театре. Клеманс сказала, что она драная кошка. Клеманс сказала, что, если ты ее не бросишь, она выжжет тебе оба глаза кислотой, а потом она просила, чтобы ты сегодня обязательно приехал к ней в шантан. Я мамочке не говорила, чтобы ее не расстраивать, о глазах-то.

Вне себя я оттолкнул Китти и бросился к жене.

Жена сидела в моем рабочем кабинете и держала в руках телефонную трубку. Истерическим, дрожащим от слез голосом она говорила:

- И это передать... Хорошо-с... Можно и это передать. И поцелуи... Что?.. Тысячу поцелуев. Передам и это. Все равно уж заодно.

Она повесила телефонную трубку, обернулась и, смотря мне прямо в глаза, сказала странную фразу:

- В вашем гнездышке на Бассейной бывать уже опасно. Муж, кажется, проследил.

- Это дом сумасшедших! - вскричал я. - Ничего не понимаю.

Жена подошла ко мне и, приблизив свое лицо к моему, без всякого колебания сказала:

- Ты... мерзавец!

- Первый раз об этом слышу. Это, вероятно, самые свежие вечерние новости.

- Ты смеешься? Будешь ли ты смеяться, взглянув на это? Она взяла со стола испещренную надписями бумажку и прочла:

- Номер 349 - 27 - "Мечтаю тебя увидеть хоть одним глазком сегодня в театре и послать хоть издали поцелуй".

Номер 259 - 09 - "Куда ты, котик, девал то бриллиантовое кольцо, которое я тебе подарила? Неужели заложил подарок любящей тебя Дуси Петровой?"

Номер 317 - 01 - "Я на тебя сердита... Клялся, что я для тебя единственная, а на самом деле тебя видели на Невском с полной брюнеткой. Не шути с огнем!"

Номер 102 - 12 - "Ты - негодяй! Надеюсь, понимаешь".

Номер 9 - 17 - "Мерзавец - и больше ничего!"

Номер 177 - 02 - "Позвони, как только придешь, моя радость! А то явится муж, и нам не удастся уговориться о вечере. Любишь ли ты по-прежнему свою Надю?"

Жена скомкала листок и с отвращением бросила его мне в лицо.

- Что же ты стоишь? Чего же ты не звонишь своей Наде? - с дрожью в голосе спросила она. - Я понимаю теперь, почему ты с таким нетерпением ждал телефона. Позвони же ей - Номер 177 - 02, а то придет муж, и вам не удастся условиться о вечере. Подлец!

Я пожал плечами.

Если это была какая-нибудь шутка, то эти шутки не доставили мне радости, покоя и скромного веселья.

Я поднял бумажку, внимательно прочитал ее и подошел к телефону.

- Центральная, номер 177 - 02? Спасибо. Номер 177 - 02?

Мужской голос ответил мне:

- Да, кто говорит?

- Номер 300 - 05. Позовите к телефону Надю.

- Ах, вы номер 300 - 05. Я на нем ее однажды поймал. И вы ее называете Надей? Знайте, молодой человек, что при встрече я надаю вам пощечин... Я знаю, кто вы такой!

- Спасибо! Кланяйтесь от меня вашей Наде и скажите ей, что она сумасшедшая.

- Я ее и не виню, бедняжку. Подобные вам негодяи хоть кому вскружат голову. Ха-ха-ха! Профессиональные обольстители. Знайте, номер 300 - 05, что я поколочу вас не позже завтрашнего дня.

Этот разговор не успокоил меня, не освежил моей воспаленной головы, а, наоборот, еще больше сбил меня с толку.

III

Обед прошел в тяжелом молчании.

Жена за супом плакала в салфетку, оросила слезами жаркое и сладкое, а дочь Китти не отрываясь смотрела в мои глаза, представляя их выжженными, и, когда жена отворачивалась, дружески шептала мне:

- Папа, так ты бросишь эту драную кошку - Бельскую? Смотри же! Брось ее!

Горничная, убирая тарелки, делала мне таинственные знаки, грозила в мою сторону пальцем и фыркала в соусник.

По ее лицу было видно, что она считает себя уже навеки связанной со мной ложью, тайной и преступлением.

Зазвонил телефон.

Я вскочил и помчался в кабинет.

- Кто звонит?

- Это номер 300 - 05?

- Да, что нужно?

Послышался женский смех.

- Это говорю я, Дуся. Неужели у тебя уже нет подаренного мною кольца?

Куда ты его девал?

- Кольца у меня нет, - отвечал я. - И не звони ты мне больше никогда, чтоб тебя дьявол забрал!

И повесил трубку.

После обеда, отверженный всей семьей, я угрюмо занимался в кабинете и несколько раз говорил по телефону.

Один раз мне сказали, что если я не дам на воспитание ребенка, то он будет подброшен под мои двери с соответствующей запиской, а потом кто-то подтвердил свое обещание выжечь мне глаза серной кислотой, если я не брошу "эту драную кошку" - Бельскую.

Я обещал ребенка усыновить, а Бельскую бросить раз и навсегда.

IV

На другой день утром к нам явился неизвестный молодой человек с бритым лицом и, отрекомендовавшись актером Радугиным, сказал мне:

- Если вам все равно, поменяемся номерами телефонов.

- А зачем? - удивился я.

- Видите ли, ваш номер 300 - 05 был раньше моим, и знакомые все уже к нему привыкли.

- Да, они уж очень к нему привыкли, - согласился я.

- И потому, так как мой новый номер мало кому известен, происходит путаница.

- Совершенно верно, - согласился я. - Происходит путаница. Надеюсь, с вами вчера ничего дурного не случилось? Потому что муж Веры Павловны не поехал ночью в Москву, как предполагал.

- Да? - обрадовался молодой человек. - Хорошо, что я вчера запутался с Клеманс и не попал к ней.

- А Клеманс-то собирается за Бельскую выжечь вам глаза, - сообщил я, подмигивая.

- Вы думаете? Хвастает. Никогда из-за нее не брошу Бельскую.

- Как хотите, а я обещал, что бросите. Потом тут вам ребенка вашего хотел подкинуть номер 77 - 92. Я обещал усыновить.

- Вы думаете, он мой? - задумчиво спросил бритый господин. - Я уже, признаться, совершенно спутался: где мои - где не мои.

Его простодушный вид возмутил меня.

- А тут еще один какой-то муж Нади обещался вас поколотить палкой. Поколотил?

Он улыбнулся и добродушно махнул рукой:

- Ну уж и палка. Простая тросточка. Да и темно. Вчера. Вечером. Так как же, поменяемся номерами?

- Ладно. Сейчас скажу на станцию.

V

Я вызвал к нему в гостиную жену, а сам пошел к телефону.

Разговаривая, я слышал доносившиеся из гостиной голоса.

- Так вы артист? Я очень люблю театр.

- О, сударыня. Я это предчувствовал с первого взгляда. В ваших глазах есть что-то такое магнетическое. Почему вы не играете? Вы так интересны! Вы так прекрасны! В вас чувствуется что-то такое, что манит и сулит небывалое счастье, о чем можно грезить только в сне, которое... которое...

Послышался слабый протестующий голос жены, легкий шум, все это покрылось звуком поцелуя.

"Жена"

I

Когда долго живешь с человеком, то не замечаешь главного и существенного в его отношении к тебе. Заметны только детали, из которых состоит это существенное.

Так, нельзя рассматривать величественный храм, касаясь кончиком носа одного из его кирпичей. В таком положении чрезвычайно затруднительно схватить общее этого храма. В лучшем случае можно увидеть, кроме этого кирпича, еще пару других соседних - и только. Поэтому мне стоило многих трудов и лет кропотливого наблюдения, чтобы вынести общее заключение, что жена очень меня любит. С деталями ее отношения ко мне приходилось сталкиваться и раньше, но я все никак не мог собрать их в одно стройное целое. А некоторые детали, надо сознаться, были глубоко трогательны.

Однажды жена лежала на диване и читала книгу, а я возился в это время с крахмальной сорочкой, ворот которой с ослиным упрямством отказался сойтись на моей шее.

"Сойдись, проклятое бельё, - бормотал я просящим голосом. - Ну, что тебе стоит сойтись, чтоб ты пропало!"

Сорочка, очевидно, не привыкла к брани и попрекам, потому что обиделась, сдавила мое горло, а когда я, задыхаясь, дернул ворот, петля для заправки лопнула.

"Чтоб ты лопнула! - разозлился я. - Впрочем, ты уже сделала это. Теперь, чтобы досадить тебе, придется снова зашить петлю".

Я подошел к жене.

- Катя! Зашей мне эту петлю.

Жена, не поднимая от книги головы, ласково пробормотала:

- Нет, я этого не сделаю.

- Как не сделаешь?

- Да так. Зашей сам.

- Милая! Но ведь я не могу, а ты можешь.

- Да, - сказала она грустно. - Вот именно, поэтому ты и должен сам сделать это. Конечно, я могла бы зашить эту петлю. Но ведь я не долговечна! Вдруг я умру, ты останешься одинок - и что же! Ничего не умеющий, избалованный, беспомощный перед какой-то лопнувшей петлей - будешь ты плакать и говорить: "Зачем, зачем я не привыкал раньше к этому?.." Вот почему я и хочу, чтобы ты сам делал это.

Я залился слезами и упал перед женой на колени.

- О, как ты добра! Ты даже заглядываешь за пределы того ужасного, неслыханного случая, когда ты покинешь этот мир! Чем отблагодарю я тебя за эту любовь и заботливость?!

Жена вздохнула, снова взялась за книгу, а я сел в уголку и, достав иголку, стал тихонько зашивать сорочку. К вечеру все было исправлено.

Не забуду я и другого случая, который еще с большей ясностью характеризует это кроткое, любящее, до смешного заботливое существо.

Я получил от одного из своих друзей подарок ко дню рождения: бриллиантовую булавку для галстука.

Когда я показал булавку жене, она испуганно выхватила ее из моих рук и воскликнула:

- Нет! Ты не будешь ее носить, ни за что не будешь!

Я побледнел.

- Господи! Что случилось?! Почему я не буду ее носить?

- Нет, нет! Ни за что. Твоей жизни будет грозить вечная опасность! Эта булавка на твоей груди - слишком большой соблазн для уличных разбойников. Они подсмотрят, подстерегут тебя вечером на улице и отнимут булавку, а тебя убьют.

- А что же мне... с ней делать? - прошептал я обескураженно.

- Я уже придумала! - радостно и мелодично засмеялась жена. - Я отдам ее

переделать в брошку. Это к моему синему платью так пойдет!

Я задрожал от ужаса.

- Милая! Но ведь... они могут убить тебя!

Лицо ее засияло решительностью.

- Пусть! Лишь бы ты был жив, мой единственный, мой любимый. А я - что уж... Мое здоровье и так слабое... я кашляю...

Я залился слезами и бросился к ней в объятия. "Не прошли еще времена христианских мучениц", - подумал я.

Я видел ее заботливость о себе повсюду.

Она сквозила во всякой мелочи. Всякий пустяк был пронизан трогательной памятью обо мне, во всем и везде первое было - ее мысль о том, чтобы доставить мне какое-нибудь невинное удовольствие и радость.

Однажды я зашел к ней в спальню, и первое, что бросилось мне в глаза, - был мужской цилиндр.

- Смотри-ка, - удивился я. - Чей это цилиндр?

Она протянула мне обе руки.

- Твой это цилиндр, мой милый!

- Что ты говоришь! Я же всегда ношу мягкие шляпы...

- А теперь - я хотела сделать тебе сюрприз и купила цилиндр. Ты ведь будешь его носить, как подарок маленькой жены, не правда ли?

- Спасибо, милая... Только постой! Ведь он, кажется, подержанный! Ну конечно же подержанный.

Она положила голову на мое плечо и застенчиво прошептала:

- Прости меня... Но мне, с одной стороны, хотелось сделать тебе подарок, а с другой стороны, новые цилиндры так дороги! Я и купила по случаю.

Я взглянул на подкладку.

- Почему здесь инициалы Б. Я., когда мои инициалы - А. А.?

- Неужели ты не догадался?.. Это я поставила инициалы двух слов: "люблю тебя".

Я сжал ее в своих объятиях и залился слезами.

II

- Нет, ты не будешь пить это вино!

- Почему же, дорогая Катя? Один стаканчик...

- Ни за что... Тебе это вредно. Вино сокращает жизнь. А я вовсе не хочу остаться одинокой вдовой на белом свете. Пересядь на это место!

- Зачем?

- Там окно открыто. Тебя может продуть.

- О, я считаю сквозняк предрассудком!

- Не говори так... Я смертельно боюсь за тебя.

- Спасибо, мое счастье. Передай-ка мне еще кусочек пирога...

- Ни-ни... И не воображай. Мучное ведет к ожирению, к тучности, а это страшно отражается на здоровье. Что я буду без тебя делать?

Я вынимал папиросу.

- Брось папиросу! Сейчас же брось. Разве ты забыл, что у тебя легкие плохие?

- Да одна папир...

- Ни крошки! Ты куда? Гулять? Нет, милостивый государь! Извольте надевать осеннее пальто. В летнем и не думайте.

Я заливался слезами и осыпал ее руки поцелуями.

- Ты - Монблан доброты!

Она застенчиво смеялась.

- Глупенький... Уж и Монблан... Вечно преувеличит!

Часто задавал я себе вопрос: "Чем и когда я отблагодарю ее? Чем докажу я, что в моей груди помещается сердце, действительно понимающее толк в доброте и человечности и способное откликнуться на все светлое, хорошее".

Однажды, во время прогулки, я подумал: "Отчего у нас никогда не случится пожар или не нападут разбойники? Пусть бы она увидела, как я, спасший ее, сам, с улыбкой любви на устах, сгорел бы дотла или с

перерезанным горлом корчился бы у ее ног, шепча дорогое имя".

Но другая мысль, здравая и практическая, налетела на свою пылкую безрассудную подругу, смяла ее под себя, повергла в прах и, победив, разлилась по утомленному непосильной работой мозгу. "Ты дурак и эгоист, - сказала мне победительница. - Кому нужно твое перерезанное горло и языки пламени. Ты умрешь, и хорошо... Но после тебя останется бедная, бесприютная вдова, нуждающаяся, обремененная копеечными заботами..."

- Нашел! - громко сказал я сам себе. - Я за-страхую свою жизнь в ее пользу!

И в тот же день все было сделано. Страховое общество выдало мне полис, который я, с радостным, восторженным лицом, преподнес жене...

Через три дня я убедился, что полис этот и вся моя жизнь - жалкая песчинка по сравнению с тем океаном любви и заботливости, в котором я начал плавать.

Раньше ее отношение и хлопоты о моих удовольствиях были мне по пояс, потом они повысились и достигали груди, а теперь это был сплошной бушующий океан доброты, иногда с головой покрывавший меня своими теплыми волнами, иногда исступленный. Это была какая-то вакханалия заботливости, бурный и мощный взрыв судорожного стремления украсить мою жизнь, сделать ее сплошным праздником.

- Радость моя! - ласково говорила она, смотря мне в глаза. - Ну, чего ты хочешь? Скажи... Может быть, вина хочешь?

- Да я уже пил сегодня, - нерешительно возражал я.

- Ты мало выпил... Что значит какие-то полторы бутылки? Если тебе это нравится - нелепо отказываться... Да, совсем забыла, - ведь я приготовила тебе сюрприз: купила ящик сигар - крепких-прекрепких!..

Я чувствую себя в раю.

Я объедаюсь тяжелыми пирогами, часами просиживаю у открытых окон, и сквозной ветер ласково обдувает меня... Малейшая моя привычка и желание раздувается в целую гору.

Я люблю теплую ванну - мне готовят такую, что я из нее выскакиваю красный, как индеец. Я раньше всегда отказывался от теплого пальто, предпочитая гулять в осеннем. Теперь со мной не только не спорят, но даже иногда снабжают летним.

- Какова нынче погода? - спрашиваю я у жены.

- Тепло, милый. Если хочешь - можно без пальто.

- Спасибо. А что это такое - беленькое с неба падает? Неужели снег?

- Ну уж и снег! Он совсем теплый.

Однажды я выпил стакан вина и закашлялся.

- Грудь болит, - сказал я.

- Попробуй покурить сигару, - ласково глядя меня по плечу, сказала жена. - Может, пройдет.

Я залился слезами благодарности и бросился в ее объятия.

Как тепло на любящей груди...

Женитесь, господа, женитесь.

"Альбом"

I

Они лежат на столе, покрытом плюшевой скатертью, в каждой гостиной - пухлые, с золоченым обрезаем и металлическими застежками, битком набитые боролатыми, безбородыми, молодыми и старыми лицами.

Мнение, что альбом фотографических карточек - семейная реликвия, сокровище воспоминаний и дружбы, совершенно ошибочно.

Альбомы выдуманы для удобства хозяев дома. Когда к ним является в гости какой-нибудь унылый, обворованный жизнью дурак, когда этот дурак садится боком в кресло и спрашивает, внимательно рассматривая узоры на ковре: "Ну, что новенького?", - тогда единственный выход для хозяев - придвинуть ему альбом и сказать: "Вот альбом. Не желаете ли посмотреть?"

И дальше все идет как по маслу.

- Кто этот старик? - спрашивает гость.
- Этот? Один наш знакомый. Он теперь живет в Москве.
- Какая странная борода. А это кто?
- Это наш Ваня, когда был маленький.
- Неужели?! Вот бы не сказал! Ни малейшего сходства.
- Да... Ему тогда было семь месяцев, а теперь двадцать девять лет.
- Гм... Как вырос! А это?
- Подруга жены. Она уже умерла. В Саратове.
- Как фамилия?
- Павлова.
- Павлова? У нее не было брата в Петербурге? В коммерческом банке.
- Не было.
- Я знал одного Павлова в Петербурге. А это кто, военный?
- Черножученко. Вы его не знаете. На даче в прошлом году познакомились.
- В этом году на даче нехорошо. Дожди.

В этом месте уже можно отложить альбом в сторону: беседа наладилась.

Для застенчивого гостя альбом фотографических карточек - спасательный круг, за который лихорадочно хватается бедный гость и потом долго и цепко держится за него.

Предыдущий гость, хотя и дурак, обиженный судьбой, но он человек не застенчивый, и альбом ему нужен только для разбега. Разбежавшись с альбомом в руках, он отрывается от земли на каком-нибудь "дождливом лете" и потом уже плавно летит дальше, выпустив из рук альбом-балласт.

Застенчивому человеку без альбома - гибель.

Мне пришлось быть в обществе одного юноши, который, придя в гости, наступил на собачку, попытался поцеловать хозяйину руку и объяснил все это адской жарой (дело было в ноябре). Он чувствовал, что партия его проиграна, но случайно взгляд его упал на стол с толстым альбомом, и бедняга чуть не заплакал от радости.

Он судорожно вцепился в альбом, раскрыл его и, почуяв под ногами землю, спросил:

- А это кто?
- Это первый лист. Тут карточки нет... Переверните.
- А это кто?
- Это моя покойная тетя, Глафира Николаевна.
- Ну?! А это?

Он перелистал альбом до конца и - беспомощно и бесцельно повис в воздухе. "Спасите! - хотел крикнуть он. - Утопаю!"

Но вместо этого снова положил альбом на колени и спросил:

- Отчего же она умерла?
- Кто?.. Тетя? От сердечных припадков.

"Почему ты, подлец, - подумал молодой гость, - отвечаешь так односложно? Рассказал бы ты мне подробно, как болела тетка и кто ее пользовал... Вот бы времечко-то и прошло".

- От припадков? Да уж, знаете, наши доктора... А это кто?
- Лизин крестный отец. Вы уже спрашивали раз.

Он просмотрел альбом до конца, отложил его и взялся за пепельницу.

- Странные теперь пепельницы делают...
- Да.

Взоры его обратились снова на альбом. Он протянул к нему руку, но - альбома не было. Альбом исчез. Хозяин положил его на этажерку.

- А где альбом? - спросил гость. - Я хотел спросить вас насчет одной фотографии. Там еще две барышни сняты.

Нашли альбом, отыскивали барышень. Молодой гость, пользуясь случаем, еще раз перелистал альбом, "чтобы составить общее впечатление". Присутствуя при этом, я носился в вихре веселья и чувствовал себя прекрасно. И вздумалось мне подшутить над гостем. Когда он зазевался, я стащил со стола альбом и сунул его под диван. Гость привычным жестом протянул руку за альбомом и, не

найдя его, чуть не крикнул: "Ограбили!"

Искоса оглядел этажерку, ковер под столом и, побледнев, поднялся с места:

- Ну... мне пора.

II

С некоторых пор у меня стали бывать гости. Ясно было, что без альбома мне не обойтись.

К сожалению, человек я не домовитый, родственники почему-то карточек мне не дарили, а если кто-нибудь и присылал свой портрет с трогательной надписью, то портрет этот попадал в руки горничной, тщеславной, избалованной женщины.

Гости стали приходиться ко мне все чаще и чаще. Без альбома дело не клеилось.

Я перерыл все ящики своего письменного стола. Были обнаружены три карточки: "самая толстая девочка в мире Алиса 9 пуд. 18 фун.", "вид гавани в Ревеле" и "знаменитый шимпанзе Франц катается на велосипеде".

Даже при самом снисходительном отношении к этим трем карточкам, они не могли быть признаны за мою "семейную реликвию". Оставалось единственное средство: пошарить на стороне. И мне повезло!.. После двух дней прилежных поисков я обнаружил на полке у одного торговца разной рухлядью громадный кожаный альбом, битком набитый самыми разнообразными карточками - как раз то, что мне было нужно.

В альбоме было до двухсот портретов - все моих будущих родных, друзей и знакомых! Эта вещь могла занять моих гостей часа на два, что давало мне возможность свободно вздохнуть, и я поэтому радовался, как ребенок.

Дома я внимательно пересмотрел альбом, и - никому в мире до меня не посчастливилось сделать этого - сам выбрал себе отца, мать, тетю, дядю и двух красивых братьев. Любимых девушек было три, и я долго колебался между ними, пока не отдал сердце первой по порядку, брюнетке с красивыми чувственными глазами.

В альбоме был один недостаток: случайно не попалось ни одного крошечного ребенка, который бы сумел быть мной в детстве. А дети 13 - 14 лет, к сожалению, совершенно не были на меня похожи. Пришлось ограничиться тем, что сделал все приятные симпатичные лица родственниками, а безобразные, некрасивые, отталкивающие (таких - увы - было немало) - простыми знакомыми...

В тот же вечер ко мне пришли гости, народ все тоскливый и молчаливый.

Меня, впрочем, это не смутило.

- Не желаете ли взглянуть на семейный альбомчик? - предложил я. - Очень интересно.

Все оживились, обрадовались, ухватились за альбом.

- Кто это?

- Это моя бедная любимая матушка... Она умерла от сердечных припадков... Земля ей пухом!

Гости притихли и, благоговейно покачав головами, перевернули страницу.

- А это кто?

- Мой папа. Мы с ним большие друзья и частенько переписываемся. Это брат. Он теперь имеет хорошее дело и зарабатывает большие деньги. Не правда ли, красивый? Это просто знакомые. А вот, господа, эта девушка... Как она вам нравится?

- Хорошенькая.

- Вы говорите - хорошенькая... Красавица! Моя первая любовь.

- Да? А она вас любила?

- Она?! Я для нее был солнцем, воздухом, без которого она не могла дышать... Эту карточку она подарила мне, когда уезжала за границу. Когда она делала на карточке надпись, то так плакала, что с ней сделалась истерика!.. Такой любви я больше не видел. И... ее я больше не видел...

Лицо мое было печально... На ресницах повисли две непрошенные предательские слезинки.

- Давно это было? - тихо спросил один гость, с тайным сочувствием пожимая мне руку.

- Давно ли? Семь лет тому назад... Но мне кажется, что прошла вечность.

- И с тех пор, вы говорите, ее не видели?

- Не видел. Куда она исчезла - неизвестно. Это странная, загадочная история.

- Что же она вам написала на обороте карточки?

- Не помню, - осторожно отвечал я. - Это было так давно...

- Разрешите взглянуть? Я думаю, раз девушка исчезла, мы не делаем ничего дурного.

- Не помню - на этой ли карточке она сделала надпись или на другой...

- Все-таки разрешите взглянуть, - попросил один господин с романтической натурой, сентиментально улыбаясь, - первый любовный лепет невинной девической души - что прекраснее этого?

- Что прекраснее этого? - как эхо, повторил другой гость и вынул карточку из альбома.

Он обернул карточку другой стороной, всмотрелся в нее и вдруг вскрикнул:

- Что за черт?

- Не смейте касаться того, что для меня "святая святых", - испуганно закричал я. - Зачем вы вынимаете карточку?

- Странно... - не обращая на меня внимания, прошептал гость. - Очень странно.

- Что такое?!!

- Вот что здесь написано: "Пелагея Косых, по прозвищу Татарка. Родилась в 1880 году. В 1898 году за воровство присуждена к месяцу тюрьмы. В 1899 году занялась хипесничеством. Рост средний, глаза синие, за правым ухом - родинка".

- Что такое - хипесничество? - спросила какая-то гостья.

- Хипесничество? - промямлил я. - Это такое... вроде телефонистки.

- Нет, - сказал один старик. - Это заманивание мужчины женщиной в свою квартиру и ограбление его с помощью своего любовника-сутенера.

- Хорошая первая любовь! - иронически заметила дама.

- Это недоразумение, - засмеялся я. - Позвольте карточку... Ну, конечно! Вы не ту вынули. Нужно эту - видите, полная блондинка. Первая моя благоуханная любовь.

"Благоуханную любовь" извлекли из альбома, и сентиментальный господин прочел:

- "Катерина Арсеньева (прозв. Беленькая) род. в 1882 году. 1899 - 1903 занималась проституц., с 1903 г. - магазинная воровка (мануфактурн. товар)".

III

Гости пожимали плечами, а некоторые (самые нахальные) осмелились даже хихикать.

- Интересно, - сказал старик, - что написано на обороте карточки вашего отца?

- Воображаю, - отозвалась дама.

- Не смейте оскорблять этого святого человека! - крикнул я. - Он выше всяких подозрений. Это светлая, сияющая добротой и любовью душа!

Я вынул отца из альбома и благоговейно поднес карточку к губам. Целуя ее в припадке сыновней любви, я потихоньку взглянул на обратную сторону и прочел:

- "Иван Долбин. Род. 1862 г. 1880 - мелкие кражи, 1882 - кража со взломом (1 г. тюрьмы), 1885 - убийство семьи Петровых - каторга (12 л.), 1890 - побег. Разыскивается. Особые приметы: густой голос, на правую ногу прихрамывает. Указательный палец левой руки искалечен в драке".

За столом, где лежал альбом, послышался смех и потом восклицания - насмешливые, негодующие.

Я отшвырнул портрет отца и бросился к альбому... Несколько карточек уже было вынуто, и я, смущенный, растерянный, без труда узнал, что моя бедная

матушка сидела в тюрьме за вытравление плода у нескольких девушек, а любимые братья, эти изящные красавцы, судились в 1901 году за шулерство и подделку банковских переводов. Дядя был самый нравственный член нашей семьи: он занимался только поджогами с целью получения премии, да и то поджигал собственные дома. Он мог бы быть нашей семейной гордостью!

- Эй, вы! Хозяин! - крикнул мне гость, старик. - Говорите правду: где вы взяли альбом? Я утверждаю, что этот старый альбом принадлежал когда-то сыскному отделению по розыску преступников.

Я подбоченился и сказал с грубым смехом:

- Да-с! Купил я его сегодня за два рубля у букиниста. Купил для вас же, для вашего развлечения, проклятые вы, нудные человечиски, глупые мучные черви, таскающиеся по знакомым, вместо того чтобы сидеть дома и делать какую-нибудь работу. Для вас я купил этот альбом: нате, ешьте, рассматривайте эти глупые портреты, если вы не можете связно выражать человеческие мысли и поддерживать умный разговор. Ты там чего хихикаешь, старая развалина?! Тебе смешно, что на обороте карточек моих родителей, родственников и друзей написано: вор, шулер, проститутка, поджигатель?! Да, написано! Но ведь это, уверяю вас, честнее и откровеннее. Я утверждаю, что у каждого из вас есть такой же альбом, с карточками таких же точно лиц, да только та разница, что на обороте карточек не изложены их нравственные качества и поступки. Мой альбом - честный откровенный альбом, а ваши - это тайное сборище тайных преступников, развратников и распутных женщин... Пошли вон!

Оттого ли, что было уже поздно, или оттого, что альбом был просмотрен и впереди предстояла скука, - но гости после моих слов немедленно разошлись.

Я остался один, открыл форточки, напустил свежего воздуха и стал дышать. Было весело и уютно.

Если бы у моего альбома выросла рука - я пожал бы ее. Такой это был хороший, пухлый, симпатичный альбом.

"Специалист"

Я бы не назвал его бездарным человеком... Но у него было во всякую минуту столько странного, дикого вдохновения, что это удручало и приводило в ужас всех окружающих... Кроме того, он был добр, и это было скверно. Услужлив, внимателен - и это наполовину сокращало долголетие его ближних.

До тех пор, пока я не прибегал к его услугам, у меня было чувство благоговейного почтения к этому человеку: Усатов все знал, все мог сделать и на всех затрудняющихся и сомневающихся смотрел с чувством затаенного презрения и жалости.

Однажды я сказал:

- Экая досада! Парикмахерские закрыты, а мне нужно бы побриться.

Усатов бросил на меня удивленный взор.

- А ты сам побрейся.

- Я не умею.

- Что ты говоришь?! Такой пустяк. Хочешь, я тебя побрею.

- А ты... умеешь?

- Я?

Усатов улыбнулся так, что мне сделалось стыдно.

- Тогда, пожалуй.

Я принес бритву, простыню и сказал:

- Сейчас принесут мыло и воду.

Усатов пожал плечами.

- Мыло - предрассудок. Парикмахеры, как авгуры, делают то, во что сами не верят. Я побрею тебя без мыла!

- Да ведь больно, вероятно.

Усатов презрительно усмехнулся:

- Садись.

Я сел и, скосив глаза, сказал:

- Бритву нужно держать не за лезвие, а за черенок.
- Ладно. В конце концов, это не так важно. Сиди спокойно.
- Ой, - закричал я.
- Ничего. Это кожа не привыкла.
- Милый мой, - с легким стоном возразил я. - Ты ее сдерешь прежде, чем она привыкнет. Кроме того, у меня по подбородку что-то течет.
- Это кровь, - успокоительно сказал он. - Мы здесь оставим, пока присохнет, а займемся другой стороной.
Он прилежно занялся другой стороной. Я застонал.
- Ты всегда так стонешь, когда бреешься? - беспокоенно спросил он.
- Нет, но я не чувствую уха.
- Гм... Я, кажется, немножко его затронул. Впрочем, мы ухо сейчас заклеим... Смотри-ка! Что это... У тебя ус отвалился?!
- Как - отвалился?
- Я его только тронул, а он и отвалился. Знаешь, у тебя бритва слишком острая...
- Разве это плохо?
- Да. Это у парикмахеров считается опасным.
- Тогда, - робко спросил я. - Может, отложим до другого раза?
- Как хочешь. Не желаешь ли, кстати, постричься?
Он вынул ножницы для ногтей. Я вежливо, но твердо отказался.
Однажды вечером он сидел у нас и показывал жене какой-то мудреный двойной шов, от которого материя лопалась вслед за первым прикосновением.
- Милый, - сказала мне жена. - Кстати, я вспомнила: пригласи настройщика для пианино. Оно адски расстроено.
Усатов всплеснул руками.
- Чего же вы молчите! Господи... Стоит ли тратиться на настройщика, когда я...
- Неужели вы можете? - обрадовалась жена.
- Господи! Маленькое напряжение слуха...
- Но у тебя нет ключа, - возразил я.
- Пустяки! Можно щипцами для сахара.
Он вооружился щипцами и, подойдя к пианино, ударил кулаком по высоким нотам.
Пианино взвизгнуло.
- Правая сторона хромает! Необходимо ее подтянуть.
Он стал подтягивать, но так как по ошибке обратил свое внимание на левую сторону, то я счел нужным указать ему на это.
- Разве? Ну, ничего. Тогда я правую сторону подтяну сантиметра на два еще выше.
Он долго возился, стуча по пианино кулаками, прижимал к деке ухо так сильно, что даже измял его, а потом долго для чего-то ощупывал педаль.
После этих хлопот отер пот со лба и озабоченно спросил:
- Скажи, дружище... Черные тебе тоже подвинтить?
- Что черные? - не понял я.
- Черные клавиши. Если тебе нужно, ты скажи. Их, кстати, пустяковое количество.
Я взял из его рук щипцы и сухо сказал:
- Нет. Не надо.
- Почему же? Я всегда рад оказать эту маленькую дружескую услугу. Ты не стесняйся.
Я отказался. Мне стоило немалых трудов потушить его энергию. Сам он считал этот день непотерянным, потому что ему удалось вкрутить ламповую горелку в резервуар и вывести камфарным маслом пятно с бархатной скатерти.
Недавно он влетел ко мне и с порога озабоченно вскричал:
- К тебе не дозвонишься!
- Звонок оборвал кто-то. Вот приглашу монтера и заведу электрические.
- Дружище! И ты это говоришь мне? Мне, который рожден электротехником... Кто же тебе и проведет звонки, если не я...

На глазах его блестели слезы искренней радости.

- Усатов! - угрюмо сказал я. - Ты меня брил - и я после этого приглашал двух докторов. Настраивал пианино - и мне пришлось звать настройщика, столяра и полировщика.

- Ах, ты звал полировщика?! Миленький! Ты мог бы сказать мне, и я бы...

Он уже снял сюртук и, не слушая моих возражений, засучивал рукава:

- Глаша! Пойди купи тридцать аршин проволоки. Иван! Беги в электротехнический магазин на углу и приобрети пару кнопок и звонков двойного давления.

Так как я сам ничего не понимал в проведении звонков, то странный термин "звонок двойного давления" вызвал во мне некоторую надежду, что электротехника - именно то, что можно было бы доверить моему странному другу.

"Возможно, - подумал я, - что в этом-то он и специалист". Но когда принесли проволоку, я недоверчиво спросил специалиста:

- Слушай... Ведь она не изолированная?

- От чего? - с насмешливым сожалением спросил Усатов.

- Что - от чего?

- От чего не изолированная?

- Ни от чего! Сама от себя.

- А для чего тебе это нужно?

Так как особенной нужды в этом я не испытывал, то молча предоставил ему действовать.

- Отверстие в двери мы уже имеем. Надо протащить проволоку, привязать к ней кнопку, а потом прибить в кухне звонок. Видишь, как просто!

- А где же у тебя элементы?

- Какие элементы?

- Да ведь без элементов звонок звонить не будет!

- А если я нажму кнопку посильнее?

- Ты можешь биться об нее головой... Звонок будет молчалив, как старый башмак.

Он задумался.

- Брось проволоку, - сказал я. - Пойдем обедать.

Ему все-таки было жаль расставаться со звонком. Он привязался к этому несложному инструменту со всем пылом своей порывистой, дикой души...

- Я возьму его с собой, - заявил он. - Вероятно, можно что-нибудь еще с ним сделать.

Кое-что ему действительно удалось сделать. Он привязал звонок к висячей лампе, непосредственно затем оторвал эту лампу от потолка и непосредственно затем обварил моего маленького сына горячим супом.

Недавно мне удалось, будучи в одном обществе, подслушать разговор Усатова с худой, костлявой старухой болезненного вида.

- Вы говорите, что доктора не могут изгнать вашего застарелого ревматизма? Я не удивляюсь... К сожалению, медицина теперь - синоним шарлатанства.

- Что вы говорите!

- Уверю вас. Вам бы нужно было обратиться ко мне. Лучшего специалиста по ревматизму вы не найдете.

- Помогите, батюшка...

- О-о... должен вам сказать, что лечение пустяковое: ежедневно ванны из теплой воды... градусов так 45 - 50... Утром и вечером по чайной ложке брауншвейгской зелени на костяном наваре... или еще лучше по два порошка цианистого калия в четыре килограмма. Перед обедом прогулка - так, три-четыре квадратных версты, а вечером вспрыскивание нафталином. Ручаюсь вам, что через неделю вас не узнаешь!..

"История болезни Иванова"

Однажды беспартийный житель Петербурга Иванов вбежал, бледный,

растерянный, в комнату жены и, выронив газету, схватился руками за голову.

- Что с тобой? - спросила жена.

- Плохо! - сказал Иванов. - Я левею.

- Не может быть! - ахнула жена. - Это было бы ужасно... тебе нужно лечь в постель, укрыться теплым и натереться скипидаром.

- Нет... что уж скипидар! - покачал головой Иванов и посмотрел на жену блуждающими, испуганными глазами. - Я левею!

- С чего же это у тебя, горе ты мое?! - простонала жена.

- С газеты. Встал я утром - ничего себе, чувствовал все время беспартийность, а взял случайно газету...

- Ну?

- Смотрю, а в ней написано, что в Ченстохове губернатор запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха... И вдруг - чувствую я, что мне его не хватает...

- Кого это?

- Да воздуху же!.. Подкатило под сердце, оборвалось, дернуло из стороны в сторону... Ой, думаю, что бы это? Да тут же и понял: левею!

- Ты б молочка выпил... - сказала жена, заливаясь слезами.

- Какое уж там молочко... Может, скоро баланду хлебать буду!

Жена со страхом посмотрела на Иванова.

- Левеешь?

- Левею...

- Может, доктора позвать?

- При чем тут доктор?!

- Тогда, может, пристава пригласить?

Как все почти больные, которые не любят, когда посторонние подчеркивают опасность их положения, Иванов тоже нахмурился, засопел и недовольно сказал:

- Я уж не так плох, чтобы пристава звать. Может быть, отойду.

- Дай-то Бог, - всхлипнула жена.

Иванов лег в кровать, повернулся лицом к стене и замолчал. Жена изредка подходила к дверям спальни и прислушивалась. Было слышно, как Иванов, лежа на кровати, левел.

Утро застало Иванова осунувшимся, похудевшим... Он тихонько пробрался в гостиную, схватил газету и, убежав в спальню, развернул свежий газетный лист.

Через пять минут он вбежал в комнату жены и дрожащими губами прошептал:

- Еще полевел! Что оно будет - не знаю!

- Опять небось газету читал, - вскочила жена. - Говори! Читал?

- Читал... В Риге губернатор оштрафовал газету за указание очагов холеры...

Жена заплакала и побежала к тестю.

- Мой-то... - сказала она, ломая руки. - Левеет.

- Быть не может?! - воскликнул тесть.

- Верное слово. Вчерась с утра был здоров, беспартийность чувствовал, а потом оборвалась печенка и полевел!

- Надо принять меры, - сказал тесть, надевая шапку. - Ты у него отними и спрячь газеты, а я забегу в полицию, заявку господину приставу сделаю.

Иванов сидел в кресле, мрачный, небритый, и на глазах у всех левел. Тесть с женой Иванова стояли в углу, молча смотрели на Иванова, и в глазах их сквозили ужас и отчаяние.

Вошел пристав. Он потер руки, вежливо раскланялся с женой Иванова и спросил мягким баритоном:

- Ну, как наш дорогой больной?

- Левеет!

- А-а! - сказал Иванов, поднимая на пристава мутные, больные глаза. -

Представитель отживающего полицейско-бюрократического режима! Нам нужна закономерность...

Пристав взял его руку, пощупал пульс и спросил:

- Как вы себя сейчас чувствуете?

- Мирнообновленцем!
Пристав потыкал пальцем в голову Иванова:
- Не готово еще... Не созрел! А вчера как вы себя чувствовали?
- Октябристом, - вздохнул Иванов. - До обеда - правым крылом, а после обеда левым...
- Гм... плохо! Болезнь прогрессирует сильными скачками...
Жена упала тестю на грудь и заплакала.
- Я, собственно, - сказал Иванов, - стою за принудительное отчуждение частновладельч...
- Позвольте! - удивился пристав. - Да это кадетская программа...
Иванов с протяжным стоном схватился за голову.
- Значит... я уже кадет!
- Все левеее?
- Левее. Уходите! Уйдите лучше... А то я на вас все смотрю и левее.
Пристав развел руками... Потом на цыпочках вышел из комнаты. Жена позвала горничную, швейцара и строго за-претила им приносить газеты. Взяла у сына томик "Робинзона Крузо" с раскрашенными картинками и понесла мужу.
- Вот... почитай. Может, отойдет.
Когда она через час заглянула в комнату мужа, то всплеснула руками и, громко закричав, бросилась к нему.
Иванов, держась за ручки зимней оконной рамы, жадно прильнул глазами к этой раме и что-то шептал...
- Господи! - воскликнула несчастная женщина. - Я и забыла, что у нас рамы газетами оклеены... Ну, успокойся, голубчик, успокойся! Не смотри на меня такими глазами... Ну, скажи, что ты там прочел? Что там такое?
- Об исключении Колюбакина... Ха-ха-ха! - проревел Иванов, шатаясь, как пьяный. - Отречемся от старого ми-и-и...
В комнату вошел тесть.
- Кончено! - прошептал он, благоговейно снимая шапку. - Беги за приставом...
Через полчаса Иванов, бледный, странно вытянувшийся, лежал в кровати со сложенными на груди руками. Около него сидел тесть и тихо читал под нос эрфуртскую программу. В углу плакала жена, окруженная перепуганными, недоумевающими детьми.
В комнату вошел пристав. Стараясь не стучать сапогами, он подошел к постели Иванова, пощупал ему голову, вынул из его кармана пачку прокламаций, какой-то металлический предмет и, сокрушенно качнув головой, сказал:
- Готово! Доспел.
Посмотрел с сожалением на детей, развел руками и сел писать проходное свидетельство до Вологодской губернии.

"Спермин"

Это была самая скучная, самая тоскливая сессия Думы. Вначале еще попадались некоторые неугомонные читатели газет, которые после долгого сладкого зевка оборачивались к соседу по месту в трамвае и спрашивали:

- Ну, как Дума?

А потом и эти закоренелые политики как-то вывелись...

Голодным, оборванным газетчикам приходилось долго и упорно бежать за прохожим, заскакивая вперед, растопыривая руки и с мольбой в голосе крича:

- Интересная газета!! Бурное заседание Государственной Думы!!

- Врешь ты все, брат, - брезгливо говорил прохожий. - Ну, какое там еще бурное?..

- Купите, ваше сиятельство!

- Знаем мы эти штуки!..

Отодвинув рукой ослабевшего от голода, истомленного нуждой газетчика, прохожий шагал дальше, а газетчик в слепой, предсмертной тоске метался по улице, подкатывался под извозчиков и, хрипло стеля, кричал:

- Интересная газета! На Малой Охте чухонка любовника топором зарубила!!

Купите, сделайте милость!

И жалко их было, и досадно.

Неожиданно среди общего сна и скуки, как удар грома, грянул небывалый скандал в Думе.

Скандал был дикий, нелепый, ни на чем не основанный, но все ожило, зашевелилось, заговорило, как будто вспрыгнуло живительным летним дождиком.

Негодование газет не было предела.

- После долгой спячки и пережевывания никому не нужной вермишели Дума наконец проснулась довольно своеобразно и самобытно: правый депутат Карнаухий закатил такой скандал, подобного которому еще не бывало... Встреченный во время произнесения своей возмутительной речи с трибуны общим шиканьем и протестами, Карнаухий выругался непечатными словами, снял с ноги сапог и запустил им в председательствующего... Когда к нему бросились депутаты, он выругал всех хамами и дохлыми верблюдами и потом, схватив стул, разбил голову депутату Рыбешкину. Когда же наконец прекратятся эти возмутительные бесчинства черносотенной своры?! Исключение наглого хулигана всего на пять заседаний должно подлить лишь масла в огонь, так как ободрит других и подвинет на подобные же бесчинства! Самая лучшая мера воздействия на подобных господ - суд и лишение депутатского звания!

Газетчики уже не бегали, стелая, за прохожими. Голодное выражение сверкавших глаз сменилось сытым, благодушным...

Издателю большой ежедневной газеты Хваткину доложили, что к нему явился депутат Карнаухий и требует личного с ним свидания.

- Какой Карнаухий? Что ему надо? - поморщился издатель. - Ну, черт с ним, проси.

Рассыльный ушел. Дверь скрипнула, и в кабинет, озираясь, тихо вошел депутат Карнаухий.

Он подошел к столу, придвинув к себе стул, сел лицом к лицу с издателем и, прищурившись, молча стал смотреть в издательское лицо.

Издатель подпер голову руками, облокотился на стол и тоже долго, будто любуясь, смотрел в красное широкое лицо своего гостя.

- Ха-ха-ха! - раскатился издатель неожиданным хохотом.

- Хо-хо-хо! - затрясся всем своим грузным телом Карнаухий.

- Хи-хи-хи!

- Го-го-го!

- Хе!

- Гы!

- Да и ловкач же ты, Карнаухий!

Сквозь душивший его хохот Карнаухий скромно заявил:

- Чего ж ловкач... Как условлено, так и сделано. Доне муа того кельк-шоу, который в той железной щикатулке лежит!

Издатель улыбнулся.

- Как условлено?

- А то ж!

Издатель встал, открыл шкафчик, вынул несколько кредиток и, осмотревшись, сунул их в руку Карнаухому.

- Эге! Да тут четвертной не хватает!

- А ты министрам кулак показывал, как я просил? Нет? То-то и оно, брат. Ежели бы показал, так я, тово... Я честный - получай полностью! А раз не показал - согласишься сам, брат Карнаухий...

- Да их никого и не было в ложе.

- Ну, что ж делать - значит, мое такое счастье!

Карнаухий крякнул, покачал укоризненно головой, сунул деньги в карман и взялся за шапку.

- Постой, брат, - остановил его издатель, потирая лоб. - Ты ведь, тово... Исключен на пять заседаний? Это хорошо, брат... Так и нужно. Пока ты забудешься. А там я б тебе еще работку дал. Скажи... не мог бы ты какого-нибудь октябриста на дуэль вызвать?

- Так я его лучше просто отдую, - добродушно сказал Карнаухий.

- Ну, вот... Придумал тоже! Дуэль - это дело благородное, а то - черт знает что - драка.

Карнаухий пощелкал пальцами, почесал темя и согласился:

- Что ж, можно и дуэль. На дуэль своя цена будет. Сами знаете...

- Не обижу. Только ты какой-нибудь благовидный предлог придумай...

Подойди, например, к нему и привяжись: "Ты чего мне вчера на пиджак плюнул? Дрянь ты октябристка!" Можешь толкнуть его даже.

- А ежели он не обидится?

- Ну, как не обидится. Обидится. А потом, значит, ты сделай так...

Долго в кабинете слышался шепот издателя и гудящий бас Карнаухого. Провожая его, издатель сделал страшное лицо и сказал:

- Только ради Создателя - чтобы ни редактор, ни сотрудники ничего не знали... Они меня съедят.

- Эге!

Когда Карнаухий вышел на улицу, к нему подскочил веселый, сытый газетчик и крикнул:

- Грандиозный скандал! Исключение депутата Карнаухого на пять заседаний!!

Карнаухий улыбнулся и добродушно проворчал:

- Тоже кормитесь, черти?!

"Октябрист Чикалкин"

К октябристу Чикалкину явился околоточный надзиратель и объявил, что предполагавшееся им, Чикалкиным, собрание в городе Битюги с целью сообщения избирателям результатов деятельности его, Чикалкина, в Думе - не может быть разрешено.

- Почему? - спросил изумленный Чикалкин.

- Потому. Незапрещенные собрания воспрещаются!

- Так вы бы и разрешили!

Околоточный снисходительно усмехнулся:

- Как же это можно: разрешить незапрещенное собрание. Это противозаконно.

- Но ведь, если вы разрешите, оно уже перестанет быть незапрещенным, - сказал, подумавши немного, Чикалкин.

- Так-то оно так, - ответил околоточный, еще раз усмехнувшись бестолковости Чикалкина. - Да как же его разрешить, если оно пока что - незапрещенное? Посудите сами.

- Хорошо, - сказал зловеще спокойным тоном Чикалкин. - Мы внесем об этом в Думе запрос.

- Распишитесь, что приняли к сведению, - хладнокровно кивнул головой околоточный.

Когда октябрист Чикалкин остался один, он долго, взволнованный и возмущенный до глубины души, шагал по комнате...

- Вы у меня узнаете, как не разрешать! Ладно!! Запрос надо формулировать так: известно ли... И тому подобное, что администрация города Битюга своими не закономер... Чикалкин вздохнул и потер бритую щеку.

- Гм. Резковато. За версту кадетом несет... Может, так: известно ли и тому подобное, что ошибочные действия администр... А что такое ошибочные? Ошибка - не вина. Тот не ошибается, кто ничего не делает. Да что ж я в самом деле, дурак... Запрос! За-прос! Не буду же я его один вносить. А фракция - вдруг скажет: несвоевременно! Ну, конечно, скажет... Такие штуки всегда несвоевременны. Запрос! Эх, Чикалка! Тебе, брат, нужно просто министру пожаловаться, а ты... Право! Напишу министру такое официальное письмецо...

Октябрист Чикалкин сел за стол.

- Ваше высокопревосходительство! Сим довожу до вашего сведения, что произвол властей...

Перо Чикалкина застыло в воздухе. В столовой гулко пробило два часа.

- ...что произвол властей...

В столовой гулко пробило половину третьего.

- ...что произвол властей, которые...

Рука онемела. В столовой гулко пробило пять.

- ...что произвол властей, которые...

Стало смеркаться.

- Которые... произвол, котор...

И вдруг Чикалкину ударило в голову:

- А что, если...

Он схватил начатое письмо и изорвал его в клочья.

- Положим... Не может быть!.. А вдруг!

Октябрист Чикалкин долго ходил по комнате и наконец, всплеснув руками, сказал:

- Ну, конечно! Просто нужно поехать к исправнику и спросить о причине неразрешения. В крайнем случае - припугнуть.

Чикалкин оделся и вышел на улицу.

- Извозчик! К исправнику! Знаешь?

- Господи! - с суеверным ужасом сказал извозчик, - да как же не знать-то! Еще позавчерась оны меня обстраховали за езду. Такого, можно сказать, человека, да не знать! Скажут такое.

- Что же он - строгий? - спросил Чикалкин, усаживаясь в пролетку.

- Он-то? Страсть. Он, ваше высокоблагородие, будем прямо говорить - строгий человек. И-и! Порох! Чиновник мне один анадьсь сказывал... Ему - слово, а он сейчас ножками туп-туп да голосом: в Сибирь, говорит, вас всех!! Начальство не уважаете!!

- Что ж он - всех так? - дрогнувшим голосом спросил Чикалкин.

- Да уж такие господа... Строгие. Если что - не помилуют.

Октябрист Чикалкин помолчал.

- Ты меня куда везешь-то? - неожиданно спросил он извозчика.

- Дык сказывали - к господину исправнику...

- Дык сказывали! - передразнил его Чикалкин. - А ты слушай ухом, а не брюхом. Кто тебе сказывал? Я тебе, дураку, говорю - вези меня в полицейское управление, а ты к самому исправнику!.. Мало штрафуют вас, чертей. Заворачивай!

- Да, брат, - заговорил Чикалкин, немного успокоившись. - В полицейское управление мне надо. Хе-хе! Чудаки эти извозчики... ему говоришь туда, а он тебя везет сюда. Так-то, брат. А мне в полицейское управление и надо-то было. Собрание, вишь ты, мне не разрешили. Да как же! Я им такое неразрешение покажу! Сейчас же проберу их хорошенько, выясню, как и что. Попляшут они у меня! Это уж такая у нас полиция - ей бы только придраться. Уже... приехали?.. Что так скоро?

- Старался, как лучше.

- Могу я видеть пристава? - спросил Чикалкин, входя. - То есть... господина пристава... можно видеть?

- Пожалуйте.

- Что нужно? - поднялся навстречу Чикалкину грузный мужчина с сердитым лицом и длинными рыжими усами.

- Я хотел бы этого... спросить вас... Могу ли я здесь получить значок для моей собачки на предмет уплаты городского налога?

- Э, черт! - отрывисто вскричал пристав. - Шляются тут по пустыкам! В городской управе нужно получать, а не здесь. Герасимов, дубина стоеросовая! Проводи.

"Камень на шее"

I

Однажды, тихим вечером, на берегу морского залива очутились два человека.

Один был художник Рюмин, другой - неизвестно кто.

Рюмин, сидя на прибрежном камне, давно уже с беспокойством следил за

поведением неизвестного человека, который то ходил нерешительными, заплетающимися ногами вдоль берега, то останавливался на одном месте и, шумно вздыхая, пристально смотрел в воду.

Было заметно, что в душе неизвестного человека происходила тяжелая борьба...

Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на Рюмина и, сняв потертый, неуклюжий пиджак, - очевидно, с чужого плеча, - полез в воду, ежась и испуская отчаянные вздохи.

- Эй! - закричал испуганно Рюмин, вскакивая на ноги. - Что вы там делаете?

Незнакомец оглянулся, сделал рукой прощальный жест и сказал:

- Не мешайте мне! Уж я так решил...
- Что вы решили? Что вы делаете?!
- Слепли вы, что ли? Не видите - хочу утопиться...
- Это безумие! Я не допущу вас до этого!..

Неизвестный человек, балансируя руками, сделал нерешительный шаг вперед и воскликнул:

- Все равно - нет мне в жизни счастья. Прощайте, незнакомец! Не поминайте лихом.

Рюмин ахнул, выругался и бросился в воду. Вытащить самоубийцу не представляло труда, так как в том месте, где он стоял, было мелко - немного выше колен.

- Безумец! - говорил Рюмин, таща неизвестного человека за шиворот.
- Что вы задумали?! Это и грешно и глупо.

Извлеченный на берег самоубийца сопротивлялся Рюмину лениво, без всякого одушевления. Брошенный сильной рукой художника на песок, он встал, отряхнулся и, потупившись, сунул художнику в руку свою мокрую ладонь.

- Пампасов! - сказал он вежливо.
- Каких пампасов? - изумленно спросил Рюмин.
- Это я - Пампасов. Нужно же нам познакомиться.

- Очень приятно, - все еще дрожа от напряжения, отвечал Рюмин. - Моя фамилия - Рюмин. Надеюсь, вы больше не повторите своей безрассудной попытки?

Пампасов неожиданно схватился за голову и завопил:

- Зачем вы меня спасли? Кто вас просил?! Пустите меня туда, в эти прозрачные зеленоватые волны... Я обрету там покой!..

Рюмин дружески обхватил его за талию и сказал:

- Ну, успокойтесь... Чего, в самом деле... Я уверен, все обойдется.

Самое сильное горе, самое ужасное потрясение забываются...

- Да у меня никакого потрясения и не было, - проворчал, уронив голову на руки, Пампасов.

- Тогда чего же вы...

- С голоду... С нужды... Со стыда перед людьми за это рубище, которое я принужден носить на плечах...

- Только-то? - оживился Рюмин. - Да ведь это сущие пустяки! Этому горю можно помочь в десять минут! Вы будете одеты, накормлены и все такое.

- Я милостыни не принимаю, - угрюмо проворчал Пампасов.

- Какая же это милостыня? Заработаете - отдадите. Пойдем ко мне. Я здесь живу недалеко.

Пампасов встал, стряхнул со своей мокрой грязной одежды песок, вздохнул и, спрятав голову в плечи, зашагал за своим спасителем.

II

Рюмин дал Пампасову новое платье, предоставил в его распоряжение диван в мастерской и вообще старался выказать ему самое деликатное внимание, будто чувствуя себя виноватым перед этим несчастным, затравленным судьбой неудачником, смотревшим с нескрываемым восхищением на сигары, куриные котлеты, вино, тонкого сукна пиджак и прочее, чем заботливо окружил его Рюмин.

Пампасов жил у Рюмина уже несколько дней, и художник, принявший в бедняге самое искреннее, деятельное участие, рыскал по городу, отыскивая

работу своему протезе. Так как Пампасов однажды в разговоре сказал: "Мы, братья-писатели", то Рюмин искал главным образом литературной работы...

Через две недели такая работа нашлась в редакции небольшой ежедневной газеты.

- Пампасов! - закричал с порога оживленный Рюмин, влетая в комнату. - Ликуйте! Нашел вам работу в газете!

Пампасов медленно спустил ноги с дивана, на котором лежал, и, подняв на Рюмина глаза, пожал плечами.

- Газета... Литературная работа... Ха-ха! Сегодня один редактор - работаешь. Завтра другой редактор - пошел вон! Сейчас газета существует - хорошо, а сейчас же ее закрыли... Я вижу, Рюмин, что вы хотите от меня избавиться...

- Господи!.. - сконфуженно закричал Рюмин. - Что вы этакое говорите... Да живите себе, пожалуйста. Я думал, вам скучно - и искал что-нибудь...

- Спасибо, - сказал Пампасов, тронутый. - Должен вам сказать, Рюмин, что труд - мое призвание, и я без какой-нибудь оживленной, лихорадочной работы как без воздуха. Эх! - Он размял свои широкие, мускулистые плечи и, одушевившись, воскликнул: - Эх! Такую силищу в себе чувствую, что кажется, весь мир бы перевернул... Труд! Какая в этом односложном слове мощь...

Он опустил голову и задумался.

- Так бы хотел пойти по своему любимому пути... Работать по призванию...

- А какой ваш любимый путь? - несмело спросил Рюмин.

- Мой? Педагогика. Сеять среди детей семена знания, пробуждать в них интерес к науке - какое это прекрасное, высокое призвание...

III

Однажды Рюмин писал картину, а Пампасов, по обыкновению, лежал на диване и читал книгу.

- Дьявольски приходится работать, - сказал Рюмин, выпуская на палитру свежую краску. - Картины покупаются плохо, платят за них дешево, а писать как-нибудь, наспех, не хочется.

- Да, вообще живопись... В сущности, это даже не труд, а так что-то. Самое святое, по-моему, труд!

Рюмин ударил себя кулаком по лбу.

- Совсем забыл! Нашел для вас целых два урока! И условия довольно невредные... Хотите?

Пампасов саркастически засмеялся.

- Невредные? Рублей по двадцати в месяц? Ха-ха! Возиться с маленькими идиотами, которым только с помощью хорошего удара кулаком и можно вдолбить в голову, что дважды два - четыре. Шлепать во всякую погоду ногами, как говорится, за семь верст киселя хлебать... Прекрасная идея, что и говорить.

Изумленный Рюмин опустил палитру.

- Да вы ведь сами говорили...

- Рюмин! - страдальчески наморщив брови, сказал Пампасов. - Я вижу, я вам надоел, я вам в тягость. Конечно, вы вырвали меня из объятий смерти, и моя жизнь всецело в ваших руках... Ну, скажите... Может быть, пойти мне и положить свою голову под поезд или выброситься из этого окна на мостовую... Что же мне делать? В сущности, я ювелир и безумно люблю это благородное занятие... Но что делать? Где выход? Что, спрошу я, - есть у меня помещение, инструменты, золото и драгоценные камни, с которыми можно было бы открыть небольшое дело? Нет! Будь тысяч пятнадцать - двадцать... Пампасов шумно вздохнул, повалился навзничь и, подняв с полу книгу, погрузился в чтение...

IV

Рюмину опротивела своя собственная квартира и ее постоянный обитатель, переходивший от дивана к обеденному столу и обратно, чем вполне удовлетворялась его неугомонная жажда лихорадочного труда. Рюмин почти перестал курить сигары и пить вино, так как то и другое уничтожалось бывшим самоубийцей, а платье и ботинки изнашивались вдвое быстрее, потому что облекали два тела и четыре ноги - попеременно...

Рюмин давно уже ухаживал за какой-то интересной вдовой, с которой познакомился на прогулке... Он был несколько раз у нее и приглашал ее к себе, рассчитывая на время ее визита усладить куда-нибудь назойливого самоубийцу.

Однажды, возвращаясь из магазина красок домой и войдя в переднюю, Рюмин услышал в мастерской голоса:

- Но ведь я не к вам пришла, а к Николаю Петровичу! Отстаньте от меня.
- Ну, один раз поцелуйте, что вам стоит!..
- Вы говорите глупости! Я вас не знаю... И потом, если об этом узнает

Николай Петрович...

- Он? Он придет, уткнет нос в берлинскую лазурь, возьмет в зубы палитру и ухом не поведет. Это простака чрезвычайный! Миледи! Если вы дадите поцелуй - я его сейчас же отдам вам обратно. А?

- Сумасшедший! Что вы... делаете?..

Послышался тихий смех и звук сочного поцелуя.

"Негодяй! - заскрежетал зубами Рюмин. - Ему мало моего платья, квартиры, еды и моих нервов... Он еще пользуется и моими женщинами!"

Рюмин повернулся и ушел. Вернулся поздно вечером. Разбудил спавшего Пампасова и сурово сказал, смотря куда-то в сторону:

- Эй! Вы видите, нос мой не уткнут в берлинскую лазурь и в зубах нет палитры. Завтра утром можете уходить от меня.

- Зачем же вы меня спасли? - удивился Пампасов. - Сначала спасал, потом прогоняет. Очень мило, нечего сказать.

Голова его упала на подушки, и через минуту послышалось ровное дыхание спящего человека.

С ненавистью посмотрел Рюмин в лицо Пампасову, заскрипел зубами и злобно прошипел:

- У, проклятый! Так бы и дал тебе по голове...

У

Утром Пампасов проснулся веселый, радостный, совершенно забыв о вчерашнем разговоре.

- Встали? - приветствовал его стоявший перед картиной Рюмин. - Помните, что я вам вчера сказал? Можете убираться.

Пампасов побледнел.

- Вы... серьезно? Значит... вы опять толкаете меня в воду?

- Пожалуйста! Пальцем не пошевелю, чтобы вытащить вас. Да вы и не будете топиться!..

- Не буду? Посмотрим!

Пампасов взглянул на мрачное, решительное лицо Рюмина, опустил голову и стал одеваться.

- Прощайте, Рюмин! - торжественно сказал он. - Пусть кровь моя падет на вашу голову.

- С удовольствием! Пойду еще посмотреть, как это вы топиться будете.

Вышли они вместе.

На берегу залива виднелись редкие фигуры гуляющих. У самого берега Пампасов обернул к Рюмину решительное лицо и угрюмо спросил:

- Так, по-вашему, в воду?

- В воду.

Рюмин хладнокровно отошел и сел поодаль на камень, делая вид, что не смотрит... А Пампасов принялся ходить нерешительными, заплетающимися ногами вдоль берега, изредка останавливаясь, смотря уныло в воду и шумно вздыхая. Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на приближавшихся к нему двух гуляющих, снял пиджак и, нерешительно ежась, полез в воду.

- Что он делает? - в ужасе воскликнул один из гуляющих... - Это безумие! Нельзя допустить его до этого.

Со своего места Рюмин видел, как к Пампасову подбежал один из гуляющих, вошел по колено в воду и стал тащить самоубийцу на берег. Потом приблизился другой, все трое о чем-то заспорили... Кончилось тем, что двое неизвестных взяли под руки Пампасова и, в чем-то его увещевая, увели с собой.

До Рюмина донеслись четыре слова:

- Я милостыни не принимаю!..

"Изумительный случай"

ИЗ ЖИЗНИ ХУДОЖНИКОВ

Художник Семиглазов решил выставить на весенней выставке "Союза молодежи" две картины:

1) Автопортрет.

2) Ну - портрет жены художника.

Обе картины, совсем законченные, стояли на мольбертах в его мастерской, радуя взоры молодого художника и его подруги жизни. Изредка художник обвивал любящей рукой талию жены и, подняв гордую голову, надменно говорил:

- О, конечно, критика не признает их! Конечно, эти тупоголовые кретины разнесут их в пух и прах! Но что мне до того! Искусство выше всего, и я всегда буду писать так, как чувствую и понимаю. Ага! Как сейчас, вижу я их. "Почему, - будут гоготать они бессмысленным смехом, - почему у этой женщины живот синий, а груди такие большие, что она не может, вероятно, двигать руками? Почему на автопортрете один глаз выше, другой ниже? Почему все лицо написано красным с черными пятнами"... О, как я хорошо знаю эту тупую напыщенную человеческую пыль, это стадо тупых двуутробок, этот караван идиотов в оазисе искусства!

- Успокойся, - ласково говорила любящая жена, глядя его разгоряченный лоб. - Ты мой прекрасный гений, а они форменные двуутробки!

В дверь мастерской постучались.

- Ну? - спросил художник. - Входите.

Вошел маленький болезненный старикашка. Голова его качалась из стороны в сторону, ноги дрожали от старости, подгибались и цеплялись одна за другую... Дряхлые руки мяли красный фуляровый платок. Только глаза юрко и проворно прыгали по углам, как мыши, учуявшие ловушку.

- А-а! - проскрипел он. - Художник! Люблю художников... Живопись - моя страсть. Вот так хожу я, старый дурак, из одной мастерской в другую, из одной мансарды в другую и ищу, облезлый, я, глупый крот, гениальных людей. Ах, дети мои, какая хорошая вещь - гениальность.

Жена художника радостно вспыхнула.

- В таком случае, - воскликнула она, - что вы скажете об этих картинах моего мужа?!

- Ага, - оживился старик. - Где же они?

- Вот эти!

Он остановился перед картинами и замер. Стоял пять минут... десять...

Супруги, затаив дыхание, стояли сзади.

Медленно повернул старик голову, заскрипев при этом одеревеневшей шеей.

Медленно, шепотом спросил:

- Это... что же... такое?

- Это? - сказал художник. - Я и моя жена. Эта вот мужская голова - я, а эта обнаженная женщина - моя жена.

Старик изумленно замотал головой и вдруг крикнул:

- Нет! Это не вы.

- Нет, я.

- Уверю вас - это не вы!

Художник нахмурился.

- Тем не менее это я.

- Вы думаете, что вы такой?

- Да.

- Смотрите: почему на картине ваше прекрасное молодое лицо покрыто зловещными черными пятнами на красном фоне? Почему один глаз у вас затек, а руки сведены и растут: одна из лопатки, а другая из шеи... Почему рот кривой?

- Потому что я такой...

- А вы... сударыня... Вы такие? Я не поверю, чтобы ваше тело было похоже на это.

- Разденься! - бешено крикнул художник. - Докажи этому слепому слизняку!

И, не задумываясь, разделась любящая жена и обнажила себя всю. Стояла молодая, прекрасная, сверкая юным белым телом и стройной, едва расцветшей грудью.

- И она, по-вашему, похожа, - прищурился старичок. - У нее синий кривой живот? Красные толстые ноги без икр, зловещие рубцы на шее, переломанные руки и громадные почерневшие груди с сосками величиною в апельсин.

- Да! - торжественно сказал художник. - Она такая.

- Да! - крикнула любящая жена. - Я такая.

Старичок неожиданно упал на колени.

- Ты! - воскликнул он, простирая руки к потолку. - Ты, которому я всегда верил и который обладает силой творить чудеса! Сделай же так, чтобы эта молодая чета имела полное сходство с этими портретами. Сделай их подобными порожденным творчеством этого гениального художника.

Жена взглянула на мужа и вдруг пронзительно закричала: на нее в ужасе глядело искаженное лицо мужа, красное, с черными пятнами, с затекшим глазом и сведенными в страшную гримасу губами... Руки несчастного покривились, как у калеки, и на груди вырос горб, точь-в-точь такой, как художник по легкомыслию изобразил на портрете.

- Что с тобой? - вскричал бешено муж. - О Боже! Что сделала ты с собой?!

С непередаваемым чувством отвращения смотрел единственный незатекший глаз художника на жену...

Перед ним стояла уродливая страшная багровая баба с громадными черными грудями и толстыми красными ногами. Синий живот вздулся, и чудовищные соски на прекрасной прежде, почти девственной груди распухли и пожелтели. Это была чума, проказа, волчанка, ревматизм и тысяча других самых отвратительных болезней, сразу накинувшихся на прекрасное прежде тело. И... удивительная вещь: теперь ужасное лицо мужа и отвратительное тело жены как две капли воды были похожи на портреты...

- Ну, я пойду, - сказал равнодушно старичок, пряча в карман свой громадный платок. - Пора, знаете, как говорится: посидел - пора и честь знать...

- Милосердный Боже! - вскричал художник, падая на колени в порыве ужаса и отчаяния. - Что вы с нами сделали?

- Я? - удивился старик. - Я? Подите вы! Это разве я? Это вы сами с собой сделали. Разве вы теперь не похожи? Как две капли воды. Прощайте, мои пикантные красавцы.

Он прищелкнул пальцами и умчался с быстротой, несвойственной его возрасту.

Супруги остались одни. Художник стер слезу с единственного глаза и обвил синий стан супруги искалеченной рукой.

- Бедная моя... Погибли мы теперь.

- Не смей ко мне прикасаться! - крикнула жена. - У тебя глаз вытек и на лице черные пятна.

- Сама ты хороша! - злобно сказал художник. - На двухнедельный труп похожа...

- Ага... Так? - крикнула жена.

Она бросилась, как бешеная тигрица, на свой портрет и в мгновение изорвала его в клочки. И совершилось второе чудо: снова стала она молода и прекрасна. Снова тело ее засверкало белизной.

И, увидев это, с визгом бросился художник Семиглазов на свой "автопортрет". И, растерзав его, сделался он через минуту так же молод и здоров, как и прежде.

От картин же остались жалкие обрывки.

Недавно я был на выставке "Союза молодежи". Устроитель выставки сказал

мне:

- Да, штуки тут все любопытные. Прекрасная живопись. Но нет гвоздя, на который мы так надеялись. Можете представить - наша слава, наша гордость - художник Семиглазов в припадке непонятого умоисступления изорвал свои лучшие полотна, которые могли быть гвоздем выставки: Ну - портрет своей жены и свой автопортрет.

"Крыса на подносе"

- Хотите пойти на выставку нового искусства? - сказали мне.
- Хочу, - сказал я. Пошли.

I

- Это вот и есть выставка нового искусства? - спросил я.
- Эта самая.
- Хорошая.

Услышав это слово, два молодых человека, долговязых, с прекрасной розовой сыпью на лице и изящными деревянными ложками в петлицах, подошли ко мне и жадно спросили:

- Серьезно, вам наша выставка нравится?
- Сказать вам откровенно?
- Да!
- Я в восторге.

Тут же я испытал невыразимо приятное ощущение прикосновения двух потных рук к моей руке и глубоко волнующее чувство от созерцания небольшого куса рогожи, на котором была нарисована пятиногая голубая свинья.

- Ваша свинья? - осведомился я.
- Моего товарища. Нравится?
- Чрезвычайно. В особенности эта пятая нога. Она придает животному такой мужественный вид. А где глаз?

- Глаза нет.
- И верно. На кой черт действительно свинье глаз? Пятая нога есть
- и довольно. Не правда ли?

Молодые люди, с чудесного тона розовой сыпью на лбу и щеках, недоверчиво поглядели на мое простодушное лицо, сразу же успокоились, и один из них спросил:

- Может, купите?
- Свинью? С удовольствием. Сколько стоит?
- Пятьдесят...

Было видно, что дальнейшее слово поставило левого молодого человека в затруднение, ибо он сам не знал, чего пятьдесят: рублей или копеек? Однако, заглянув еще раз в мое благожелательное лицо, улыбнулся и смело сказал:

- Пятьдесят ко... рублей. Даже, вернее, шестьдесят рублей.
- Недорого. Я думаю, если повесить в гостиной, в простенке, будет очень недурно.

- Seriously, хотите повесить в гостиной? - удивился правый молодой человек.

- Да ведь картина же. Как же ее не повесить!
- Положим, верно. Действительно картина. А хотите видеть мою картину "Сумерки насущного"?

- Хочу.

- Пожалуйте. Она вот здесь висит. Видите ли, картина моего товарища "Свинья как таковая" написана в старой манере, красками; а я, видите ли, красок не признаю; краски связывают.

- Еще как, - подхватил я. - Ничто так не связывает человека, как краски. Никакого от них толку, а связывают. Я знал одного человека, которого краски так связали, что он должен был в другой город переехать...

- То есть как?

- Да очень просто. Мильдяевым его звали. Где же ваша картина?

- А вот висит. Оригинально, не правда ли?

II

Нужно отдать справедливость юному маэстро с розовой сыпью - красок он избегнул самым положительным образом: на стене висел металлический черный поднос, посредине которого была прикреплена каким-то клейким веществом небольшая дохлая крыса. По бокам ее меланхолически красовались две конфетные бумажки и четыре обгорелые спички, расположенные очень приятного вида зигзагом.

- Чудесное произведение, - похвалил я, полюбовавшись в кулак. - Сколько в этом настроения!.. "Сумерки насущного"... Да-а... Не скажи вы мне, как называется ваша картина, я бы сам догадался: э, мол, знаю! Это не что иное, как "Сумерки насущного"! Крысу сами поймали?

- Сам.

- Чудесное животное. Жаль, что дохлое. Можно погладить?

- Пожалуйста.

Я со вздохом погладил мертвое животное и заметил:

- А как жаль, что подобное произведение непрочно... Какой-нибудь там Веласкес или Рембрандт живет сотни лет, а этот шедевр в два-три дня, гляди, и испортится.

- Да, - согласился художник, заботливо поглядывая на крысу. - Она уже, кажется, разлагается. А всего только два дня и провисела. Не купите ли?

- Да уж и не знаю, - нерешительно взглянул я на левого. - Куда бы ее повесить? В столовую, что ли?

- Вешайте в столовую, - согласился художник. - Вроде такого натюрморта.

- А что, если крысу освежать каждые два-три дня? Эту выбрасывать, а новую ловить и вешать на поднос?

- Не хотелось бы, - поморщился художник. - Это нарушает самоопределение артиста. Ну, да что с вами делать! Значит, покупаете?

- Куплю. Сколько хотите?

- Да что же с вас взять? Четыреста... - Он вздрогнул, опасливо поглядел на меня и со вздохом закончил: - Четыреста... копеек.

- Возьму. А теперь мне хотелось бы приобрести что-нибудь попрочнее. Что-нибудь такое... неорганическое.

- "Американец в Москве" - не возьмете ли? Моя работа.

Он потащил меня к какой-то доске, на которой были набиты три жестяные трубки, коробка от консервов, ножницы и осколок зеркала.

- Вот скульптурная группа: "Американец в Москве". По-моему, эта вещица мне удалась.

- А еще бы! Вещь, около которой можно заржать от восторга. Действительно, эти приезжающие в Москву американцы, они тово... Однако вы не без темперамента... Изобразить американца вроде трех трубочек...

- Нет, трубочки - это Москва! Американца, собственно, нет; но есть, так сказать, следы его пребывания...

- Ах, вот что. Тонкая вещь. Масса воздуха. Колоритная штукенция. Почему?

- Семьсот. Это вам для кабинета подойдет.

- Семьсот... Чего?

- Ну, этих самых, не важно. Лишь бы наличными.

III

Я так был тронут участием и доброжелательным ко мне отношением двух экспансивных, экзальтированных молодых людей, что мне захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить их.

- Господа! Мне бы хотелось принять вас у себя и почествовать как представителей нового чудесного искусства, открывающего нам, опустившимся, обрюзгшим, необозримые светлые дали, которые...

- Пойдемте, - согласились оба молодых человека с ложками в петлицах и милостивой розовой сыпью на лицах. - Мы с удовольствием. Нас уже давно не чествовали.

- Что вы говорите! Ну и народ пошел. Нет, я не такой. Я обнажаю перед вами свою бедную мыслями голову, склоняю ее перед вами и звонко, прямо,

открыто говорю: "Добро пожаловать!"

- Я с вами на извозчике поеду, - попросился левый. - А то, знаете, мелких что-то нет.

- Пожалуйста! Так, с ложечкой в петлице и поедете?

- Конечно. Пусть ожиревшие филистеры и гнилые ипохондрики смеются

- мы выявляем себя, как находим нужным.

- Очень просто, - согласился я. - Всякий живет как хочет. Вот и я, например. У меня вам кое-что покажется немного оригинальным, да ведь вы же не из этих самых... филистеров и буржуев!

- О, нет. Оригинальностью нас не удивишь.

- То-то и оно.

IV

Приехали ко мне. У меня уже кое-кто: человек десять - двенадцать моих друзей, приехавших познакомиться поближе с провозвестниками нового искусства.

- Знакомьтесь, господа. Это все народ старозаветный, закоренелый, вы с ними особенно не считайтесь, а что касается вас, молодых, гибких пионеров, то я попросил бы вас подчиниться моим домашним правилам и уставам. Раздевайтесь, пожалуйста.

- Да мы уж пальто сняли.

- Нет, чего там пальто. Вы совсем раздевайтесь.

Молодые люди робко переглянулись:

- А зачем же?

- Чествовать вас будем.

- Так можно ведь так... не раздеваясь.

- Вот оригиналы-то! Как же так, не раздеваясь, можно вымазать ваше тело малиновым вареньем?

- Почему же... вареньем? Зачем?

- Да уж так у меня полагается. У каждого, как говорится, свое. Вы бросите на поднос дохлую крысу, пару карамельных бумажек и говорите: это картина. Хорошо! Я согласен! Это картина. Я у вас даже купил ее. "Американца в Москве" тоже купил. Это ваш способ. А у меня свой способ чествовать молодые, многообещающие таланты: я обмазываю их малиновым вареньем, посыпаю конфетти и, наклеив на щеки два куска бумаги от мух, усаживаю чествуемых на почетное место. Есть вы будете особый салат, приготовленный из кусочков обоев, изрубленных зубных щеток и теплого вазелина. Не правда ли, оригинально? Запивать будете свинцовой примочкой. Итак, будьте добры, разденьтесь. Эй, люди! Приготовлено ли варенье и конфетти?

- Да нет! Мы не хотим... Вы не имеете права...

- Почему?!

- Да что же это за бессмыслица такая: взять живого человека, обмазать малиновым вареньем, обсыпать конфетти! Да еще накормить обоями с вазелином... Разве можно так? Мы не хотим. Мы думали, что вы нас просто кормить будете, а вы... мажете. Зубные щетки рубленные даете... Это даже похоже на издевательство!.. Так нельзя. Мы жаловаться будем.

- Как жаловаться? - яростно заревел я. - Как жаловаться? А я жаловался кому-нибудь, когда вы мне продавали пятиногих синих свиней и кусочки жести на деревянной доске? Я отказывался?! Вы говорили: мы самоопределяемся. Хорошо! Самоопределяйтесь. Вы мне говорили - я вас слушал. Теперь моя очередь... Что?! Нет уж, знаете... Я поступал по-вашему, я хотел понять вас - теперь понимайте и вы меня. Эй, люди! Разденьте их! Мажь их, у кого там варенье. Держите голову им, а я буду накладывать в рот салат... Стой, брат, не вырвешься. Я тебе покажу сумерки насущного! Вы самоопределяетесь - я тоже хочу самоопределиться...

V

Молодые люди стояли рядышком передо мной на коленях, усердно кланялись мне в ноги и, плача, говорили:

- Дяденька, простите нас. Ей-богу, мы больше никогда не будем.

- Чего не будете?

- Этого... делать... Таких картин делать...
- А зачем делали?
- Да мы, дяденька, просто думали: публика глупая, хотели шум сделать, разговоры вызвать.
- А зачем ты вот, тот, левый, зачем крысу на поднос повесил?
- Хотел как чуднее сделать.
- Ты так глуп, что у тебя на что-нибудь особенное, интересное даже фантазии не хватило. Ведь ты глуп, братец?
- Глуп, дяденька. Известно, откуда у нас ум?!
- Отпустите нас, дяденька. Мы к маме пойдём.
- Ну ладно. Целуйте мне руку и извиняйтесь.
- Зачем же руку целовать?
- Раздену и вареньем вымажу! Ну?!
- Вася, целуй ты первый... А потом я.
- Ну, бог с вами... Ступайте.

VI

Провозвестники будущего искусства встали с колен, отряхнули брюки, вынули из петлиц ложки и, сунув их в карман, робко, гуськом вышли в переднюю.

В передней, натягивая пальто, испуганно шептались:

- Влетели в историю! А я сначала думал, что он такой же дурак, как и другие.
 - Нет, с мозгами парень. Я было испугался, когда он на меня надвигаться стал. Вдруг, думаю, подносом по голове хватит!
 - Слава Богу, дешево отделались.
 - Это его твоя крыса разозлила. Придумал ты действительно: дохлую крысу на поднос повесил!
 - Ну, ничего. Уж хоть ты на меня не кричи. Я крысу выброшу, а на пустое место стеариновый огарок на носке башмака приклею. Оно и прочнее. Пойдем, Вася, пойдём, пока не догнали.
- Ушли, объятые страхом...

"Русалка"

- Вы кашляете? - учтиво спросил поэт Пеликанова художник Кранц.
 - Да, - вздохнул бледный поэт. - И кроме того, у меня насморк.
 - Где же это вы его схватили?
 - На реке. Вчера всю ночь на берегу просидел. И нога, кроме того, ломит.
 - Так, так, - кивнул головой третий из компании - угрюмый Дерягин.
 - Рыбу ловили, с ума сошли или просто так?
 - Просто так. Думал.
 - Просто так? Думал? О чем же вы думали?
- Пеликанов встал и закинул длинные светлые волосы за уши.
- О чем я думал? Я думал о них... о прекрасных, загадочных, которые всплывают в ночной тиши на поверхность посеребренной луной реки и плещутся там между купами задумчивой осоки, напевая свои странные, чарующие, хватающие за душу песенки и расчесывая гребнями длинные волосы, в которых запутались водоросли...
- Бледные, прекрасные, круглые руки поднимаются из воды и в безмолвной мольбе протягиваются к луне... Большие печальные глаза сияют между ветвей, как звезды... Жутко и сладостно увидеть их в эту пору.
- Это кто ж такие будут? - спросил Дерягин. - Русалки, что ли?
 - Да... Русалки.
 - И вы их надеетесь увидеть?
 - О, если бы я надеялся! Я только мечтаю об этом...
 - Рассчитываете дождаться?
 - Полжизни я готов просидеть, чтобы...
- Дерягин в бешенстве вскочил с кресла.

- Будьте вы прокляты, идиоты, с вашими дурацкими бреднями. Встречаюсь я с вами уже несколько лет, разговаривал с вами, как с порядочным, нормальным человеком, и вдруг, - нате, здравствуйте! Этот человек бродит по ночам по берегу реки! Зачем, спрашивается? Русалок ищет, изволите ли видеть! Бесстыдник.

- Вы не понимаете прекрасного! - сказал, свесив голову на грудь и покашливая, Пеликанов.

- Да ведь их нет! Понимаете, это чепуха, мечта! Их не существует.

Поэт улыбнулся:

- Для вас, может быть, нет. А для меня они существуют.

- Кранц! Кранц! Скажи ему, что он бредит, что он с ума сошел! Каких таких он русалок ищет?

Художник Кранц улыбнулся, но промолчал.

- Нет! С вами тут с ума сойдешь. Пойду я домой. Возьму ванну, поужинаю хорошенько и завалюсь спать. А ты, Кранц?

- Мне спать рано. Я поеду к одной знакомой даме, которая хорошо поет. Заставлю ее петь, а сам лягу на диван и, слушая, буду тянуть шартрез из маленькой-маленькой рюмочки. Хорошо-о-о!

- Сибарит! А вы, Пеликанов?

Пеликанов грустно усмехнулся:

- Вы, конечно, будете ругаться... Но я... пойду сейчас к реке, побродить... прислушаться к всплескам волн, помечтать где-нибудь меж темными кустами осоки о прекрасных, печальных глазах... о руках, смутно белеющих на черном фоне спящей реки...

- Кранц! - завопил Дерягин, завертевшись, как ужаленный. - Да скажи ты ему, этому жалкому человечешке, что его проклятых русалок не существует!..

Кранц подумал немного и потом пожал плечами.

- Как же я ему скажу это, когда русалки существуют.

- Если ты так говоришь, значит, ты дурак.

- Может быть, - усмехнулся Кранц. - Но я был знаком с одной русалкой.

- Боже! - всплеснул руками Дерягин. - Сейчас начнется скучища - розовая водица и нудьга! Кранц нам сейчас расскажет историю о том, как он встретился с женщиной, у которой были зеленые русалочьи глаза и русалочий смех, и как она завлекла его в жизненную пучину, и как погубила. Кранц! Сколько вам заплатить, чтобы вы не рассказывали этой истории?

- Подите вы, - нахмурился Кранц. - Это была настоящая, подлинная, речная русалка. Встретился я с ней случайно и расстался тоже как-то странно.

Пеликанов жадными руками вцепился в плечи Кранца.

- Вы правду говорите?! Да? Вы действительно видели настоящую русалку?

- Что же тут удивительного? Ведь вы же сами утверждаете, что они должны быть...

- И вы ее ясно видели? Вот так, как меня? Да?

- Не волнуйтесь, юноша... Если это и кажется немного чудесным, то... мало ли что на свете бывает! Я уже человек немолодой и за свою шумную, бурную, богатую приключениями жизнь видел много такого, о чем вам и не снилось.

- Кранц! Вы... видели русалку?!

- Видел. Если это вас так интересует - могу рассказать. Только потребуйте вина побольше.

- Эй! Вина!

- Только побольше.

- Побольше! Кранц! О русалке!

- Слушайте...

- Однажды летом я охотился... Собственно, охота какая? Так, бродил с ружьем. Люблю одиночество. И вот, бродя таким образом, набрел я в один теплый летний вечер на заброшенный рыбацкий домик на берегу реки. Не знаю, утонули ли эти рыбаки во время одной из своих экспедиций или просто, поймав в этой реке всю рыбу, перебрались на другое место, - только этот домик был совершенно пуст. Я пришел в восторг от такого прекрасного

безмолвия, запустения и одиночества; съездил в город, привез припасов, походную кровать и поселился в домике.

Днем охотился, ловил рыбу, купался, а вечером валялся в кровати и при свете керосиновой лампочки читал Шиллера, Пушкина и Достоевского.

Об этом времени я вспоминаю с умилением...

Ну, вот.

Как-то в душную, грозовую ночь мне не спалось. Жара, тяжесть какая-то - сил нет дышать. Вышел я на берег - мутная луна светит, ивы склонили печальные головы, осока замерла в духоте. Вода тяжелая, черная, как густые чернила.

"Искупаюсь, - решил я. - Все-таки прохладнее".

Но и вода не давала прохлады: свинцовая, теплая - она расступилась передо мной и опять сомкнулась, даже не волнуясь около моего тела. Я стал болтать руками, плескаться и петь песни, потому что кругом были жуть и тишина невероятная. Нервы у меня вообще как канаты, но тут воздушное электричество, что ли, так их взвинтило, что я готов был расплакаться, точно барышня.

И вот когда я уже хотел выкарабкаться на берег, у меня, около плеча, что-то такое как всплеснет! Я думал - рыба. Протягиваю инстинктивно руку, наталкиваюсь на что-то длинное, скользкое, хватаю... Сердце так и заныло... На ощупь - человеческая рука. Ну, думаю, утопленник. Вдруг это неизвестное тело затрепетало, забилося и стало вырываться... показалась голова... прекрасная женская голова с печальными молящими глазами... Две белые круглые руки беспомощно взметнулись над водой...

И, странно, я сразу же успокоился, как только увидел, с кем имею дело. Случай был редкий, исключительный, и я моментально решил не упускать его. Руки мои крепко обвили вокруг ее стройной, гибкой талии, и через минуту она уже билась на песке у моих ног, испуская тихие стоны.

Я успокоил ее несколькими ласковыми словами, погладил ее мокрые волнистые волосы и, бережно подняв на руки, перенес в домик. Она притихла и молча следила за мной своими печальными глазами, в которых светился ужас.

При свете лампы я подробнее рассмотрел мою пленницу. Она была точно такого типа, как рисуют художники: белое мраморное тело, гибкие стройные руки и красивые плечи, по которым разметались волосы удивительного, странного, зеленоватого цвета. Вместо ног у нее был длинный чешуйчатый хвост, раздвоенный на конце, как у рыбы.

Признаться ли? Эта часть тела не произвела на меня приятного впечатления.

Но, в общем, передо мной лежало преаппетитное создание, и я благословлял провидение, что оно послало такое утешение одинокому бродяге и забулдыге.

Она лежала на моей постели, блестя влажным телом, закинув руки за голову и молча поглядывая на меня глазами, в которых сквозил тупой животный страх.

- Не бойся! - ласково сказал я. - Старина Кранц не сделает тебе зла.

И я прильнул губами к ее полуоткрытым розовым губкам.

Гм... Признаться ли вам: многих женщин мне приходилось целовать на своем веку, но никогда я не чувствовал такого запаха рыбы, как в данном случае. Я люблю запах рыбы - он отдает морем, солью и здоровьем, но я никогда бы не стал целоваться с окунем или карасем.

- Я думаю, - спросил я, нерешительно обнимая ее за талию, - вы питаетесь главным образом рыбой?

- Рыбы... - пролепетала она, щуря свои прекрасные печальные глаза.

- Дай мне рыбы.

- Ты проголодалась, бедняжка? Сейчас, моя малютка, я принесу тебе...

Я достал из ящика, служившего мне буфетом, кусок холодной жареной рыбы и подал ей.

- Ай, - закричала она плаксиво. - Это не рыба. Рыбы-ы... Дай рыбы.

- Милая! - ужаснулся. - Неужели ты ешь сырую рыбу?.. Фи, какая

гадость...

Тем не менее пришлось с большими усилиями достать ей живой рыбы... Как сейчас помню: это были карась и два маленьких пескаря. Она кивнула головой, схватила привычной рукой карася и, откусив ему голову, выплюнула, как обыкновенная женщина - косточку персика. Тело же карасиное моментально захрустело на ее зубах. Вы морщитесь, господа, но должен сказать правду: пескарей она съела целиком, с головой и внутренностями... Такой уж, видно, у них обычай.

- Воды, - прошептала она своими коралловыми губками. - Воды...

"Беднягу томит жажда", - подумал я. Принес ей большую глиняную кружку, наполненную водой, и приставил заботливо ко рту.

Но она схватила кружку и, приподнявшись, с видимым удовольствием окатила себя с хвоста до головы водой, после чего рухнула обратно на постель и завизжала от удовольствия.

- Милая, - сухо сказал я. - Нельзя ли без этого? Ты мне испортила всю постель. Как я лягу?

- Воды! - капризно крикнула она.

- Обойдешься и так! Вон вода ручьями течет с постели. Как не стыдно, право.

Действительно, одеяло и подушка были мокрые, хоть выжми, и вода при каждом движении пленницы хлюпала в постели.

- Воды!!

- А чтоб тебя, - прошептал я. - На воду. Мокни! Только уж извини, голубушка... Я рядом с тобой не лягу... Мне вовсе не интересно схватить насморк.

Второй ковш воды успокоил ее. Она улыбнулась, кивнула мне головой и начала шарить в зеленых волосах своими прекрасными круглыми руками.

- Что вы ищете? - спросил я.

Но она уже нашла - гребень. Это был просто обломок рыбьего хребта с костями, в виде зубьев гребня, причем на этих зубьях кое-где рыбье мясо еще не было объедено.

- Неужели ты будешь причесываться этой дрянью? - поморщился я.

Она промолчала и стала причесываться, напевая тихую, жалобную песенку.

Я долго сидел у ее хвоста, слушая странную, тягучую мелодию без слов, потом встал и сказал:

- Песенка хорошая, но мне пора спать. Спокойной ночи.

Лежа навзничь, она смотрела своими печальными глазами в потолок, а ее губки продолжали тянуть одну и ту же несложную мелодию.

Я лег в углу на разостланном пальто и пролежал так с полчаса с открытыми глазами. Она все пела.

- Замолчи же, милая, - ласково сказал я. - Довольно. Мне спать хочется.

Попела - и будет.

Она тянула, будто не слыша моей просьбы. Это делалось скучным.

- Замолчишь ли ты, черт возьми?! - вскипел я. - Что это за безобразие?!

Покоя от тебя нет!!

Услышав мой крик, она обернулась, посмотрела на меня внимательно испуганными глазами и вдруг крикнула своими коралловыми губками:

- Куда тащишь, черт лысый, Михеич?! Держи влево! Ох, дьявол! Опять сеть порвал!

Я ахнул.

- Это что такое? Откуда это?!

Ее коралловые губки продолжали без всякого смысла:

- Лаврушка, черт! Это ты водку вылопал? Тебе не рыбачить, а сундуки взламывать, пес окаянный...

Очевидно, это был весь лексикон слов, которые она выучила, подслушав у рыбаков.

Долго она еще выкрикивала разные упреки неизвестному мне Лаврушке, перемежая это приказаниями и нецензурными рыбацкими ругательствами.

Забылся я сном лишь перед рассветом.

Яркое солнце разбудило меня. Я лежал на разостланном пальто, а в кровати спала моя пленница, разметав руки, которые при дневном свете оказались тоже зеленоватыми. Волосы были светло-зеленые, похожие на водоросли, и так как влага на них высохла, пряди их стали ломаться. Кожа, которая была в воде такой гладкой и нежной, теперь стала шероховатой, сморщенной. Грудь тяжело дышала, а хвост колотился о спинку кровати так сильно, что чешуя летела клочьями. Услышав шум моих шагов, пленница открыла зеленые глаза и прохрипела огрубевшим голосом:

- Воды! Воды, проклятый Лаврушка, чтобы ты подох! Нету на тебя пропасти!

Поморщившись, я пошел на реку за водой, принес ковш и, только войдя в комнату, почувствовал, как тяжел и удушлив воздух в комнате: едкий рыбный запах, казалось, пропитал все...

Хрипло бормоча что-то, она стала окачиваться водой, а я сел на пальто и стал размышлять, хорошо ли, что я связался с этим нелепым существом: она ела рыбу, как щука, орала всю ночь нецензурные слова, как матрос, от нее несло рыбой, как от рыночной селедочницы.

- Знаете что... - нерешительно сказал я, подходя к ней... - Не лучше ли вам на реку обратно... а? Идите себе с Богом. И вам лучше, и мне покойнее.

- Тащи невод, Лаврушка! - крикнула она. - Если веревка лопнет - уши оборву!

- Ну и словечки, - укоризненно сказал я. - Будто пьяный мужик. Ну... довольно-с!

Преодолевая отвращение от сильного рыбного запаха, я взял ее на руки, потащил к реке и, бросив на песок, толкнул в воду. Она мелькнула в последний раз своими противными зелеными волосами и скрылась. Больше я ее не видел.

История с русалкой была выслушана в полном молчании. Кранц поднялся и стал искать шапку. Собрался уходить и Дерягин.

- А вы куда? - спросил он поэта Пеликанова. - На реку?

- Пожалуй, я пойду домой, - нерешительно сказал поэт. - Нынче что-то сыровато...

"Слепцы"

Посвящается А. Я. Садовской

I

Королевский сад в эту пору дня был открыт, и молодой писатель Аве беспрепятственно вошел туда. Побродив немного по песчаным дорожкам, он лениво опустился на скамью, на которой уже сидел пожилой господин с приветливым лицом.

Пожилой приветливый господин обернулся к Аве и после некоторого колебания спросил:

- Кто вы такой?

- Я? Аве. Писатель.

- Хорошая профессия, - одобрительно улыбнулся незнакомец. - Интересная и почетная.

- А вы кто? - спросил простодушный Аве.

- Я-то? Да король.

- Этой страны?

- Конечно. А то какой же...

В свою очередь Аве сказал не менее благожелательно:

- Тоже хорошая профессия. Интересная и почетная.

- Ох, и не говорите, - вздохнул король. - Почетная-то она почетная, но интересного в ней ничего нет. Нужно вам сказать, молодой человек, королевствование не такой мед, как многие думают.

Аве всплеснул руками и изумленно вскричал:

- Это даже удивительно! Я не встречал ни одного человека, который был бы доволен своей судьбой.

- А вы довольны? - иронически прищурился король.

- Не совсем. Иногда какой-нибудь критик так выругает, что плакать хочется.

- Вот видите! Для вас существует не более десятка-другого критиков, а у меня критиков миллионы.

- Я бы на вашем месте не боялся никакой критики, - возразил задумчиво Аве и, качнув головой, добавил с осанкой видавшего виды опытного короля, - вся штука в том, чтобы сочинять хорошие законы.

Король махнул рукой.

- Ничего не выйдет! Все равно никакого толку.

- Пробовали?

- Пробовал.

- Я бы на вашем месте...

- Э, на моем месте! - нервно вскричал старый король. - Я знал многих королей, которые были сносными писателями, но я не знаю ни одного писателя, который был хотя бы третьесортным, последнего разряда, королем. На моем месте... Посадил бы я вас на недельку, посмотрел бы, что из вас выйдет...

- Куда... посадили бы? - осторожно спросил обстоятельный Аве.

- На свое место!

- А! На свое место... Разве это возможно?

- Отчего же! Хотя бы для того это нужно сделать, чтобы нам, королям, поменьше завидовали... чтобы поменьше и потолковее критиковали нас, королей!

Аве скромно сказал:

- Ну, что ж... Я, пожалуй, попробую. Только должен предупредить: мне это случается делать впервые, и если я с непривычки покажусь вам немного... гм... смешным - не осуждайте меня.

- Ничего, - добродушно улыбнулся король. - Не думаю, чтобы за неделю вы наделали особенно много глупостей... Итак - хотите?

- Попробую. Кстати, у меня есть в голове один небольшой, но очень симпатичный закон. Сегодня бы его можно и обнародовать.

- С Богом! - кивнул головой король. - Пойдемте во дворец. А для меня, кстати, это будет неделькой отдыха. Какой же это закон? Не секрет?

- Сегодня, проходя по улице, я видел слепого старика... Он шел, ощупывая руками и палкой дома, и ежеминутно рисковал попасть под колеса экипажей. И никому не было до него дела... Я хотел бы издать закон, по которому в слепых прохожих должна принимать участие городская полиция. Полисмен, заметив идущего слепца, обязан взять его за руки и заботливо проводить до дому, охраняя от экипажей, ям и рытвин. Нравится вам мой закон?

- Вы добрый парень, - устало улыбнулся король. - Да поможет вам Бог. А я пойду спать. - И, уходя, загадочно добавил: - Бедные слепцы...

II

Уже три дня королевствовал скромный писатель Аве. Нужно отдать ему справедливость - он не пользовался своей властью и преимуществом своего положения. Всякий другой человек на его месте засадил бы критиков и других писателей в тюрьму, а народонаселение обязал бы читать только свои книги - и не менее одной книги в день, на каждую душу, вместо утренних булок.

Аве поборол соблазн издать такой закон. Дебютировал он, как и обещал королю, "законом о провозании полисменами слепцов и об охране сих последних от разрушительного действия внешних сил, как-то: экипажи, лошади, ямы и проч."

Однажды (это было на четвертый день утром) Аве стоял в своем королевском кабинете у окна и рассеянно смотрел на улицу. Неожиданно внимание его было привлечено страшным зрелищем: два полисмена тащили за шиворот прохожего, а третий пинками ноги подгонял его сзади.

С юношеским проворством выбежал Аве из кабинета, слетел с лестницы и через минуту очутился на улице.

- Куда вы его тащите? За что бьете? Что сделал этот человек? Скольких человек он убил?

- Ничего он не сделал, - отвечал полисмен.

- За что же вы его и куда гоните?

- Да ведь он, ваша милость, слепой. Мы его по закону в участок и волокем.

- По за-ко-ну? Неужели есть такой закон?

- А как же! Три дня тому назад обнародован и вступил в силу. Аве, потрясенный, схватился за голову и взвизгнул:

- Мой закон?!

Сзади какой-то солидный прохожий пробормотал проклятие и сказал:

- Ну и законы нынче издаются! О чем они только думают? Чего хотят?

- Да уж, - поддержал другой голос, - умный закончик: "Всякого замеченного на улице слепца хватать за шиворот и тащить в участок, награждая по дороге пинками и колотушками". Очень умно! Чрезвычайно добросердечно!! Изумительная заботливость!!

Как вихрь, влетел Аве в свой королевский кабинет и крикнул:

- Министра сюда! Разущите его и сейчас же пригласите в кабинет!! Я должен сам расследовать дело!

III

По расследовании, загадочный случай с законом "Об охране слепцов от внешних сил" разъяснился.

Дело обстояло так.

В первый день своего королевствования Аве призвал министра и сказал ему:

- Нужно издать закон "о заботливом отношении полисменов к прохожим слепцам, о провожании их домой и об охране сих последних от разрушительного действия внешних сил, как-то: экипажи, лошади, ямы и проч."

Министр поклонился и вышел. Сейчас же вызвал к себе начальника города и сказал ему:

- Объявите закон: не допускать слепцов ходить по улицам без провожатых, а если таковых нет, то заменять их полисменами, на обязанности которых должна лежать доставка по месту назначения. Выйдя от министра, начальник города пригласил к себе начальника полиции и распорядился:

- Там слепцы по городу, говорят, ходят без провожатых. Этого не допускать! Пусть ваши полисмены берут одиноких слепцов за руку и ведут куда надо.

- Слушаю-с.

Начальник полиции созвал в тот же день начальников частей и сказал им:

- Вот что, господа. Нам сообщили о новом законе, по которому всякий слепец, замеченный в шатании по улице без провожатого, задерживался полицией и доставляется куда следует. Поняли?

- Так точно, господин начальник!

Начальники частей разъехались по своим местам и, созвав полицейских сержантов, сказали:

- Господа! Разъясните полисменам новый закон: "Всякого слепца, который шатается без толку по улице, мешая экипажному и пешему движению, - хватать и тащить куда следует".

- Что значит "куда следует"? - спрашивали потом сержанты друг у друга.

- Вероятно, в участок. На высидку... Куда ж еще...

- Наверно, так.

- Ребята! - говорили сержанты, обходя полисменов. - Если вами будут замечены слепцы, бродящие по улицам, хватайте этих каналий за шиворот и волоките в участок!

- А если они не захотят идти в участок?

- Как не захотят? Пара хороших подзатыльников, затрещина, крепкий пинок сзади - небось побегут!..

Выяснив дело "Об охране слепцов от внешних влияний", Аве сел за свой роскошный королевский стол и заплакал.

Чья-то рука ласково легла ему на голову.

- Ну, что? Не сказал ли я, узнав впервые о законе "охранения слепцов" - "бедные слепцы!". Видите! Во всей этой истории бедные слепцы проиграли, а я

выиграл.

- Что вы выиграли? - спросил Аве, отыскивая свою шапку.

- Да как же? Одним моим критиком меньше. Прощайте, милый. Если еще вздумаете провести какую-нибудь реформу - заходите.

"Дождись!" - подумал Аве и, перепрыгивая через десять ступенек роскошной королевской лестницы, убежал.

"Мопассан"

РОМАН В ОДНОЙ КНИГЕ

I

Недавно, часов в двенадцать утра, моя горничная сообщила, что меня спрашивает по делу горничная господина Зверюгина. Василий Николаевич Зверюгин считался моим приятелем, но, как всегда случается в этом нелепом Петербурге, с самыми лучшими приятелями не встречаешься года по два.

Зверюгина не видел я очень давно, и поэтому не-ожиданное получение весточки о нем, да еще через горничную, очень удивило меня.

Я вышел в переднюю и спросил:

- А что, милая, как поживает ваш барин? Здоров?

- Спасибо, они здоровы, - сверкнув черными глазами, ответила молоденькая, очень недурной наружности, горничная.

- Так, так... Это хорошо, что он здоров. Здоровье прежде всего.

- Да уж здоровье такая вещь, что действительно.

- Без здоровья никак не проживешь, - вставила свое слово и моя горничная, вежливо кашлянув в руку.

- Больной человек уж не то, что здоровый, - благосклонно ответила моей горничной горничная Зверюгина.

- Где уж!

Выяснив всесторонне с этими двумя разговорчивыми девушками вопрос о преимуществе человеческого здоровья над болезнями, я, наконец, спросил пришлую горничную:

- А зачем барин вас прислал ко мне?

- Как же, как же! Они записку вам прислали. Ответа просили.

Я вскрыл конверт и прочел следующее странное послание:

- "Прости, дорогой Аркадий, что я долго не отвечал тебе. Дело в том, что когда мы в прошлом году встретились случайно в театре Корша, ты спросил у меня, не могу ли я тебе одолжить сто рублей, так как ты, по твоим словам, не мог получить из банка по случаю праздника денег. К сожалению, у меня тогда не было таких денег, а теперь есть, и, если тебе надо, я могу прислать. Я знаю, ты аккуратен в денежных делах. Так вот, напиши мне ответ. Пиши побольше, не стесняйся. Моя горничная подождет. Твой Василиск".

"Судя по письму, - подумал я, - этот Василиск или сейчас пьян, или у него начинается прогрессивный паралич".

Я написал ему вежливый ответ с благодарностью за такую неожиданную заботливость о моих делах и, передавая письмо горничной, спросил:

- Ваш барин, наверное, тут же живет, на Троицкой?

- Нет-с. Мы живем на двадцать первой линии Васильевского острова.

- Совершенно невероятно! Ведь это, кажется, у черта на куличках.

- Да-с, - вздохнула горничная. - Очень далеко. Прощайте, барин! Мне еще в два места заехать надо.

II

На третий день после этого визита горничная около часу дня снова доложила мне:

- Вас спрашивает горничная господина Зверюгина.

- Опять?! Что ей надо?

- Письмо от ихнего барина.

- Впустите ее. Здравствуйте, милая. Ну, как дела у вашего барина?

- Дела ничего, спасибо. Дела хорошие. Да уж плохие дела - это не дай Господь.

Моя горничная тоже согласилась с нею:

- Хорошие дела когда, так лучше и хотеть не надо.

Отдав дань этикету, мы помолчали.

- Письмо? Ну, давайте.

- "Радуюсь за тебя, дорогой Аркадий, что деньги тебе сейчас не нужны.

Между прочим: когда ты был весной прошлого года у меня, то забыл на подзеркальнике пачку газет ("Нов. Время", "Речь" и др.), а также проспект фирмы кроватей "Санитас". Это все у меня случайно сохранилось. Если тебе нужно, напиши. Пришлю. Обнимаю тебя. Ну, как вообще? Пиши побольше. У тебя такой чудесный стиль, что приятно читать. Любящий Василиск".

Я ответил ему:

- "Три года тому назад однажды в ресторане "Малоярославец" ты спросил меня: который час? К сожалению, у меня тогда часы стояли. Теперь я имею возможность ответить тебе на твой вопрос. Сейчас четверть второго. Не стоит благодарности. Что же касается газет, то, конечно, я хожу без них сам не свой, но из дружбы к тебе могу ими пожертвовать. Именно - передай их своей горничной. Пусть она обернет тебя ими и подожжет в тот самый момент, когда ты ее снова погонишь за не менее важным делом. Спи только на кроватях фирмы "Санитас"!"

- Скажите, милая, - спросил я, передавая горничной письмо, - вы только ко мне ездите или еще к кому?

- Нет, что вы, барин! У меня теперь очень много дела. Мне еще нужно съездить сегодня на Безбородкинский проспект, а потом в Химический переулок. Это где-то на Петергофском шоссе.

- Черт знает что! А в Химический переулок нужно не к Бройдесу ли?

- Да-с, к господину Бройдесу.

- Ага! Так этот Бройдес через час будет у меня. Оставьте ему письмо, я передам.

- Премного благодарю. А то это действительно... Отсюда часа полтора...

III

Приехал Бройдес.

- Данила, - сказал я. - Вот тебе письмо от Зверюгина.

- Ты знаешь, этот Зверюгин - он с ума сошел, - пожал плечами Бройдес. -

Его вдруг обуяла самая истерическая деликатность, внимательность и аккуратность. Он буквально заваливает меня письмами. Я бы на месте его горничной давно сбежал.

- Он и тебе тоже пишет?

- А разве и тебе? Представь себе, третьего дня я получил письмо с запросом: не знаю ли я, где находится главное управление по делам местного хозяйства, - справку, которую можно найти в любой телефонной книге, у любого городского. А вчера присылает мне рубль восемьдесят копеек, с письмом, в котором сообщает, что вспомнил, как мы с ним в прошлом году ездили на скачки в Коломяги и я якобы платил за мотор три рубля шестьдесят копеек. Я уверен, что с ним делается что-то нехорошее...

- Посмотри-ка, что он тебе сегодня пишет.

Бройдес прочел:

- "Дорогой Данила! У меня к тебе большая просьба: не знаешь ли ты адрес Аркадия Аверченко - никак не могу его отыскать, а очень нужно. Напиши, как проживаешь. Не стесняйся писать побольше (у тебя замечательный стиль), а горничная подождет".

Мы взглянули друг на друга.

- Тут дело нечисто. Человек пишет мне почти каждый день письма, получает на них ответы и в то же время справляется, где я живу! Данила! Этот человек или очень болен, или здесь кроется какой-нибудь ужас.

Бройдес встал.

- Ты прав. Едем сейчас же к нему. Вызови таксомотор - он живет черт

знает где!

IV

Мы звонили у парадного минут десять - из квартиры Зверюгина не было никакого ответа.

Наконец, когда я энергично постучал в дверь кулаком и крикнул, что иду в полицию, дверь приотворилась и в щель просунулась растрепанная голова полураздетого Зверюгина. Он был встревожен, но, увидя нас, успокоился.

- Ах, это вы! Я думал - горничная. Тссс! Тише. Идите сюда и разденьтесь. В те комнаты нельзя.

- Почему?! - в один голос спросили мы.

- Там... дама!

Я бросил косой взгляд на Бройдеса.

- Ты понимаешь, Данила, в чем дело?

- Да уж теперь ясно как день. Только послушай, Вася... Как тебе не стыдно гонять бедную девушку по всему Петербургу от одного края до другого? Неужели ты не мог бы запирать ее на это время в кухне?!

- Да, попробуй-ка, - жалобно захныкал Василиск Зверюгин. - Это такая бешеная ревнивица, что сразу поймет, в чем дело, и разнесет кухню в куски.

- Вот... оно... что! - с расстановкой сказал Бройдес. - Бедная девушка!

Вот все вы такие, мужчины, подлецы: обольстите нас, бедных женщин, совратите, опутаете сладкими цепями, а потом гоняете с Химического переулка на Троицкую, проводя это время в объятиях разлучницы. Так, что ли?

- Так, - бледной улыбкой усмехнулся Зверюгин.

Я уселся без приглашения на стул и спросил:

- Скажи, у тебя нет еще каких-нибудь друзей, кроме нас?

Он понял.

- Есть-то есть, да они или близко живут, или уже я все у них узнал и все им возвратил, что было возможно. Вы не можете представить, какой я стал аккуратный: за эти нужные мне три часа в день я возвратил по принадлежности все когда-то взятые и зачитанные мною книги, я ответил на все письма, на которые не отвечал по три года, я возвращал долги, вспоминая все до последней копейки! Я просто даже справлялся о здоровье моих милых, моих дорогих, моих чудесных друзей! И я теперь обращаюсь к вам: придумайте что-нибудь для моей горничной... Что-нибудь на три часа! Моя фантазия иссякла.

Я подошел к столу, взял какую-то книгу и сказал:

- Ладно! Это какая книга? Мопассан? Том третий? Завтра же пришли мне эту книжку... Слышишь? Мне она очень нужна. Через час я ее верну тебе. Это ничего, что горничная подождет? И ничего, что ты мне пришлешь эту книгу также и послезавтра?

- О, пожалуйста, - засмеялся он. - Она все равно полуграмотная, моя Катя, и в этих делах ничего не понимает. Скажи ей, что это корректура, что ли. Ей ведь все равно.

V

Каждый день аккуратно бедная Катя привозила мне том третий Мопассана.

- Ну, как погода? - спрашивал я.

- Ничего, барин. Погода теплая, солнышко.

- Чудесно! Терпеть не могу, когда холодно и идет дождь.

- Что уж тут хорошего. Одна неприятность.

А моя горничная добавляла:

- В дождь-то совсем нехорошо. Одна грязь чего стоит.

- А как же! Кому такое приятно?

Я брал Мопассана и уходил в кабинет читать газеты или просматривать редакционные письма.

Часа через полтора выходил в кухню и снова возвращал Мопассана.

- Готово. Поблагодарите барина и кланяйтесь ему. Скажите, чтобы завтра обязательно прислал - это, брат, очень нужная вещь!

- Хорошо-с. Передам.

Мопассан за три недели порядочно поистрепался. Обрез книги засалился, и обложка потемнела.

Через три недели книжка не появлялась у меня подряд четыре дня, потом, появившись однажды, исчезла на целую неделю, потом ее не было десять дней...

Самый длительный срок был полтора месяца.

Катя принесла мне ее в этот раз, будучи в очень веселом настроении, сияющая, оживленная:

- Барин просили меня сейчас же возвращаться, не дожидаясь. Книжку я оставлю; когда-нибудь найду.

Да так и не зашла.

Это было, очевидно, там последнее - самое краткое свидание.

Это была ликвидация.

Счастливица ты, Катя! Бедная ты - та, другая!

Желтеет и коробится обложка Мопассана. Лежит эта книга на шкапу, уже ненужная, и покрывается она пылью.

Это пыль тления, это смерть.

"На "Французской выставке за сто лет""

- Посмотрим, посмотрим... Признаться, не верю я этим французам.

- Почему?

- Так как-то... Кричат: "Искусство, искусство!" А что такое искусство, почему искусство? - никто не знает.

- Я вас немного не понимаю, - что вы хотите сказать словами - почему искусство?

- Да так: я вот вас спрашиваю - почему искусство?

- То есть как - почему?

- Да так! Вот небось и вы даже не ответите, а то французские какие-то живописцы. Наверное, все больше из декадентов.

- Почему же уж так сразу и декаденты? Ведь декаденты недавно появились, а эта выставка за сто лет.

- Ну, половина, значит, декадентов. Вы думаете что! Им же все равно.

- Давайте лучше рассматривать картины.

- Ну, давайте. Вы рассматривайте ту, желтую, а я эту.

- Что ж тут особенного рассматривать - вот я уже и рассмотрел.

- Нельзя же так скоро. Вы еще посмотрите на нее.

- Да куда ж еще смотреть?! Все видно как на ладони: стол, на столе яблоки, апельсины, какая-то овощь. Интересно, как она называется?

- А какой номер?

- Сто двадцать седьмой.

- Сейчас... Гм! Что за черт! В каталоге эта картина называется "Лесная тишина". Как это вам понравится?! У этих людей все с вывертом... Он не может прямо и ясно написать: "Стол с яблоками" или "Плоды". Нет, ему, видите ли, нужно что-нибудь этакое почуднее придумать! Лесная тишина! Где она тут? А потом возьмет он, нарисует лесную тишину и подпишет: "Стол с апельсином". А я вам скажу прямо: такому молодцу не на выставке место, а в сумасшедшем доме!

- Ну, может быть, это ошибка. Мало ли что бывает: типографщик напился пьяный и допустил ошибку.

- Допустим. Пойдем дальше. А это что за картина? Ну... голая женщина - это еще ничего. Искусство там, натура, как вообще... Какая-нибудь этакая Далила или Семирамида. Какой номер? Двести восемнадцать? Посмотрим. Вот тебе! Я ж говорю, что у этих людей вместо головы коробка от шляпы! И это называется "новым искусством"! Новыми путями! Может, скажете - опять типографская ошибка? Нарисована голая женщина, а в каталоге ее называют: "Вид с обрыва"! Нет-с, это не типографская ошибка, а тенденция! Как бы почудней, как бы позабористее на голову стать. Эх вы! Просвещенные мореплаватели!

- Это не англичане, а французы.

- Я и говорю. И я уверен, что вся выставка в стиле "О, закрой свои голубые ноги". Это что? Четыреста одиннадцатый? Лошадки на лугу пасутся. Как оно там? Ну конечно! Они это называют "Заседание педагогического совета"!

- А знаете - это мне нравится. Тут есть какая-то сатира... Гм! Ненормальная постановка дела высшего образования в России. Проект Кассо...

- Нет! Нет! Вы посмотрите! Тут нормальному человеку можно с ума сойти! Я бы за это новое искусство в Сибирь сослал! Вы видите? Нарисован здоровенный мужчанище с бородой, а под этим номером творец сего увража в каталоге пишет: "Моя мать"... Его мать! Да я б его... Нет, не могу больше! Я им сейчас покажу, как публику обманывать. Ты, милый мой, хоть и декадент, а тюрьма и для декадентов, и для недекадентов одинаковая! Эй, кто тут! Вы капельдинер? Билеты отбираете? За что? Может, и у вас новое течение? Посмотрите вашими бесстыдными глазами, - кто это может допустить?! Это какой номер? Девяносто пятый? Мужчина с бородой? А в каталоге что? Девяносто пятый - "Моя мать"? Мать с бородой? Или зарвавшаяся наглость изломанных идиотов, которым все прощается? Я вас спрашиваю! Что вы мне на это скажете?

- Что я скажу? Позвольте ваш каталог... Вы сейчас откуда?

- Мы, миленький мой, сейчас из такого места, которое не вам чета! Там художники хранят святые старые традиции! Одним словом - с академической выставки, которая...

- Вы бы, господин, если так экономите, то уж не кричали бы, - ведь у вас каталог-то не нашей, а чужой выставки.

"Одинокий"

Бухгалтер Казанлыков говорил жене:

- Мне его так жаль... Он всегда одинок, на него почти никто не обращает внимания, с ним не разговаривают... Человек же он с виду вполне корректный, приличный, и в конце концов не помешает же он нам! Он такой же банковский чиновник, как и я. Ты ничего не имеешь против? Я пригласил его к нам на сегодняшний вечер.

- Пожалуйста! - полуудивленно отвечала жена. - Я очень рада.

Гости собрались в десять часов. Пили чай, поздравляли хозяина с днем ангела и весело подшучивали над молодой парочкой: сестрой бухгалтера Казанлыкова и ее женихом, студентом Аничкиным.

В десять часов явился тот самый вполне приличный господин, о котором Казанлыков беседовал с женой... Был он высок, прям, как громоотвод, имел редкие, крепкие, как стальная щетка, волосы и густые черные удивленные брови. Одет был в черный сюртук, наглухо застегнутый, делавший похожим его стан на валик от оттоманки, говорил тихо и вежливо, но внушительно, заставляя себя выслушивать.

Чай пил с ромом.

Выпив два стакана, от третьего отказался и, посмотрев благосклонно на хозяина, спросил:

- Деточки есть у вас?

- Ожидая! - улыбнулся Казанлыков, указав широким, будто извиняющимся жестом на жену, которая сейчас же вспыхнула и сделала такое движение, которое свойственно полным людям, когда они хотят уменьшить живот.

Одинокий господин солидно посмотрел на живот хозяйки.

- Ожидаете? Да... Гм... Опасное дело это - рождение детей.

- Почему? - спросил Казанлыков.

- Мало ли? Эти вещи часто кончаются смертельным исходом. Родильная горячка или еще какая-нибудь болезнь. И - капут!

Казанлыков бледно улыбнулся.

- Ну, будем надеяться, что все завершится благополучно. Будем иметь большого такого, толстого мальчугана... Хе-хе!

Одинокий господин раздумчиво пригладил мокрой ладонью черную и очень редкую проволоку на своей голове.

- Мальчугана... Гм... Да, мальчуганы тоже, знаете... Часто мертвенькими рождаются.

Хозяин пожал плечами.

- Это очень редкие случаи.

- Редкие? - подхватил гость. - Нет, не редкие. Некоторые женщины совершенно не могут иметь детей... Есть такие организмы. Да вот вы, сударыня... Боюсь, что появление на свет ребенка будет грозить вам самыми серьезными опасностями, могущими окончиться печально...

- Ну, что вы завели, господа, такие разговоры, - сказала жена чиновника Фитилева. - Ничего дурного не будет. Вы же, - обратилась она к одинокому господину, - и на крестинах еще гулять будете!

Одинокий господин скорбно покачал головой.

- Дай-то Бог. Только ведь бывают и такие случаи, что ребенок растет благополучно, а умирает потом. Детский организм очень хрупкий, нежный... Ветерком подуло, пылиночку какую на него нанесло, и - конец. По статистике детской смертности...

Жена Казанлыкова, бледная, с искаженным страхом лицом, слушала тихую, вежливую речь гостя.

- Ну, что там ваша статистика! У меня трое детей, и все живехоньки, - перебила жена Фитилева.

Гость ласково и снисходительно улыбнулся.

- Пока, сударыня, пока. Слышали вы, между прочим, что в городе появился дифтерит? Ребенок гуляет себе, резвится и вдруг - начинает покашливать... В горле маленькая краснота... Как будто бы ничего особенного...

Жена Фитилева вздрогнула и широко открыла глаза.

- Позвольте! А ведь мой Сережик вчера действительно вечером кашлянул раза два...

- Ну, вот, - кивнул головой гость. - Весьма возможно, что у вашего милого мальчика дифтерит. Должен вас, впрочем, успокоить, что это, может быть, не дифтерит. Может быть, это скарлатина. Вы говорите - вчера покашливал? Гм... Если он не изолирован, то легко может заразить других детей...

Бледная, как бумага, жена Фитилева открывала и закрывала рот, не находя в себе силы вымолвить ни одного слова.

- Особенно вы не волнуйтесь, - благожелательно сказал гость. - Скарлатина не всегда кончается смертельным исходом. Иногда она просто отражается на ушном аппарате, кончается глухотой или - что, конечно, опаснее - отзывается на легких.

- Куда вы? - с беспокойством спросила жена Казанлыкова, видя, что госпожа Фитилева надевает дрожащими руками шляпу и, стиснув губы, колет себе пальцы шляпной булавкой.

- Вы меня извините, дорогая, но... я страшно беспокоюсь. Вдруг... это... с Сережей... что-нибудь неладное.

Забыв даже попрощаться, она хлопнула выходной дверью и исчезла.

Гость прихлебывал маленькими глотками чай с ромом и изредка посматривал на сидевших против него студента Аничкина и его невесту.

- На каком вы факультете? - спросил он, ласково прищуривая левый глаз.

- На юридическом.

- Ага! Так, так... Я сам когда-то был в университете. Люблю молодежь. Только юридический факультет - это невыгодная штука, извините меня за откровенность.

- Почему?

- Да вот я вам скажу: учитесь вы, учитесь - целых четыре года. Кончили (хорошо, если еще удастся кончить!)... И что же вы? Помощник присяжного поверенного - без практики, или поступаете в управление железных дорог без жалованья, в ожидании далекой вакансии на сорок рублей! Конечно, вы не сделаете такой оплошности, чтобы жениться, но...

Студент сделал виноватое лицо и улыбнулся.

- Как раз я и женюсь. Вот - позвольте вам представить - моя невеста.

- Же-ни-тесь, - протянул одинокий господин грустно и многозначительно.
- Вот как! Ну, что же, сударыня... Желаю вам счастья и привольной богатой жизни. Впрочем, мне случалось наблюдать, как живут женившиеся студенты: комната в шестом этаже, больной ребенок за ширмой (обязательно больной - это заметьте!), рано подурневшая от плохой жизни, худая, печальная жена, посиневший от голодухи и неудач супруг... Конечно, есть счастливые исключения в этих случаях: ребенок может помереть, а жена - сбежит с каким-нибудь смазливый соседом, но это - увы! - бывает редко... Большой частью муж однажды усылает жену в ломбард - якобы для того, чтобы заложить последнее пальто, а сам прикрепит к крюку от зеркала ремень, да и тово...

В комнате было тихо.

Жених, съездившись, ушел в свой стул, а невеста упорно глядела на клетку с птицей, и на ее глазах дрожали две неожиданные случайные слезинки, которые порой быстро скатывались на волнующуюся грудь и сейчас же заменялись новыми...

- Что вы, право, такое говорите, - криво усмехнулся бухгалтер Казанлыков. - Поговорим о чем-нибудь веселом.

- В самом деле, - сказал акцизный чиновник Тюляпин. - Вы слишком мрачно и односторонне смотрите на жизнь. Вот взять хотя бы меня - я женился по любви и совершенно счастлив с женой. Положение у нас обеспеченное, и с женой мы живем душа в душу... Она меня ни в чем не стесняет... Вот сегодня - у нее болела голова, она не могла сюда прийти поздравить дорогого хозяина - и все-таки настояла, чтобы я пошел...

Одинокий господин с сомнением качнул головой:

- Может быть... может быть... Но только я чтой-то счастливых браков не видел. Верные, любящие жены - это такая редкость, которую нужно показывать в музеумах... И что ужаснее всего, - обратился он к угрюмо потупившемуся студенту, - что чем ласковее, предупредительнее жена, тем, значит, большую гадость она мужу готовит.

- Моя жена не такая! - мрачно проворчал акцизный чиновник.

- Верю, - вежливо поклонился гость. - Я говорю вообще. Я на своем веку знал мужей, которые говорили о женах, захлебываясь, со слезами на глазах, и говорили тем самым людям, которые всего несколько часов назад держали их жен в объятиях.

- Бог знает что вы такое говорите! - встревоженно воскликнул акцизный Тюляпин.

- Уверю вас! Однажды я снимал комнату в одной адвокатской семье. Жена каждый день ласково уговаривала мужа пойти в клуб развлечься, так как, говорила она, ей нездоровится и она ляжет поспать. А он, мол, заработался. И при этом целовала его и говорила, что он свет ее жизни. А когда глупый муж уходил в клуб или еще куда-нибудь, из комода выползал любовник (они их всюду прячут), и они начинали целоваться самым настоящим образом. Я все это из-за стены и слышал.

Акцизный Тюляпин сидел бледный, порывисто дыша... Он вспомнил, что жена как раз сегодня назвала его светом ее жизни и уже несколько раз жалела его, что он заработался. Он хотел сейчас же встать и побежать домой, но было неловко.

Из столовой вышла, с заплаканными глазами, расстроенная жена Казанлыкова и сказала, что ужин подан.

Унылое настроение немного рассеялось. Все встали и повеселевшей толпой отправились в столовую.

Когда рюмки были налиты, одинокий господин встал и сказал:

- Позвольте предложить выпить за здоровье многоуважаемого именинника. Дай Бог ему прожить еще лет десять - двенадцать и иметь кучу детей!

Тост особенного успеха не имел, но все выпили.

- Вторую рюмку, - торжественно заявил одинокий господин, - поднимаю за вашего будущего первенца!

Будущая мать расцвела и бросила на одинокого господина такой взгляд, который говорил, что за это она готова простить ему все предыдущее.

- Пью за вашего будущего сына! Правда, дети не всегда бывают удачненькие. Я знал одного мальчика, который уже девяти лет воровал у отца деньги и водку, и мне однажды показывали другого четырнадцатилетнего юнца, который распорол вынырившей его старухе живот и потом, когда его арестовали, убил из револьвера двух городских... Но все же...

- Закусите лучше, - посоветовал хозяин, нахмурившись. - Вот прелестная семга, вот нежинские огурчики...

Гость, вежливо поблагодарив, придвинул невесте студента семгу и сказал:

- На днях одни мои знакомые отравились рыбным ядом. Купили тоже вот так семги, поели...

- Я не хочу семги, - сказала девушка. - Дайте мне лучше колбасы.

- Пожалуйста, - почтительно придвинул гость колбасу. - Заражение трихинами бывает гораздо реже, чем рыбным ядом. На днях, я читал, привозят одну старуху в больницу, думали - туберкулез, а когда разрезали ее, увидели клубок свиных трихин...

Акцизный чиновник, попрощавшись, вышел от Казанлыковых в тот момент, когда одинокий господин тоже раскланялся, вежливо поблагодарил хозяев за гостеприимство и теперь спускался по темной, еле освещенной парадной лестнице.

Акцизный Тюляпин пил за ужином много, с какой-то странной, ужасной методичностью. Теперь он догнал одинокого господина, схватил его за плечо и, пошатываясь, сказал:

- Вы чего, черти вас разорви, каркали там насчет жен... Вот я сейчас тресну вас этой палкой по черепу - будете вы знать, как такие разговоры разговаривать.

Одинокий господин обернулся к нему и, съжившись, равнодушно сказал:

- У вас палка толстая, железная... Если вы ударите ею меня по голове, то убьете. Мне-то ничего - я буду мертвый, - а вас схватят и сошлют в Сибирь. Жена ваша обнищает и пойдет по миру, а вы не выдержите тяжелых условий каторги и получите чахотку... Дети ваши разбредутся по свету, сделаются жуликами, а когда о вашем преступлении узнает ваша мать, с ней сделается разрыв сердца... Ага!